АНДРЕЙ СЕДЫХ

ТОЛЬКО О ЛЮДЯХ

АНДРЕЙ СЕДЫХ

ТОЛЬКО О ЛЮДЯХ

ТОГО ЖЕ АВТОРА

Старый Париж. — Изд. Я. Поволоцкого, Париж, 1926 г. С иллюстрациями Б. Гроссера.

Монмартр. — Изд. Я. Поволоцкого, Париж, 1927 г. С иллюстрациями Б. Гроссера.

Париж ночью. — Изд. «Москва», 1928 г. С предисловием А. И. Куприна. Обложка Ал. Яковлева.

Там, где была Россия. — Изд. Я. Поволоцкого, Париж, 1930 г.

Там, где была Россия. — Изд. Я. Поволоцкого, Париж, 1931 г.

Люди за бортом. — Изд. О. Зелюка, Париж, 1933 г.

Дорога через океан. — Изд. «Новый Журнал», Нью Иорк, 1942 г.

Звездочеты с Босфора. — Изд. «Нового Русского Слова», Нью Иорк, 1948 г. С предисловием И. А. Бунина. Обложка Р. Ван-Розена.

Сумасшедший шарманщик. — Нью Иорк, 1951 г. Обложка Л. Михельсона.

Cover by Saul Edelbaum

TAKE IT EASY

Жизнь Алексея Колесова была простая и несложная, и когда он умер, в газете напечатали небольшое объявление, по которому чужие люди равнодушно скользнули глазами и тотчас же о нем забыли: мало ли кто умирает на свете? Должно быть, по этой же причине полной неизвестности и отсутствия общественных заслуг, не поместили о нем и некролога, — в отделе хроники появились только две строки о том, что в Нью Иорке скончался А. И. Колесов, выходец из Волынской губернии. Но для самого Алексея Ивановича собственная его жизнь представлялась необычайно длинной и сложной, цепью бесконечных дней и событий, полных глубокого значения, и были в ней элементы даже героические, никого, впрочем, не интересовавшие. Есть такие элементы в биографии каждого эмигранта: война, революция, бегство из России. В эти немногие слова можно вложить большое содержание. Одни пишут многотомные мемуары, из которых становится ясно, что их авторы всё предвидели и всё правильно предсказали; другие снисходительно молчат, раз навсегда решив, что рассказы об арестах, ночных до-

просах в Чека и эпизоды гражданской войны, давно всем набили оскомину и никого больше не интересуют.

Именно к числу этих людей относился и Алексей Колесов. В первые годы своей эмигрантской жизни он еще пытался рассказывать приятелям, как пробирался в двадцатом году через Украину к себе домой, как ехал в сыпнотифозных вагонах, как сражался потом на Перекопе и переходил вброд солончаки под пулеметным огнем, но почему-то слушатели очень быстро его перебивали и немедленно начинали рассказывать свое: «Это что, а вот у меня был случай!..» И тогда уже наступал черед Алексея Ивановича их не слушать. Поэтому, рассказ о его жизни мы начнем прямо с того зимнего, снежного дня, когда пароход с беженцами пришел в Нью Иорк, и Алексей Колесов с фибровым, потертым чемоданчиком в руке, очутился на набережной.

В шумной, суетливой толпе на него решительно никто не обращал внимания. Люди отыскивали родственников или друзей и, после первых минут беспорядочных объятий и лобызаний, забирали свои вещи и быстро исчезали. Русских увозили в какое-то общежитие при церкви. Колесов уже собирался сесть в автобус, заполненный земляками, когда прошел слух, что тут же, на набережной, берут на работу: нужны люди для уборки снега, выпавшего за ночь.

— Вот так страна! Не успел человек сойти на берег, — уже работу ему предлагают, сказал кто-то в толпе. Одно слово: Америка!

Колесов отдал свой чемодан знакомой семье, ехавшей прямо в общежитие, а сам направился к группе людей, в центре которой стоял высокий, толстый человек в странной, клетчатой куртке, что-то говоривший по-английски. Поляк-переводчик объяснял:

— Тщеба зберать шнег лопатáми.... Два доллара дженне.

Когда набралось два десятка желающих работать, толстяк повел их за собой. Вышли на улицу, и Алексея Ивановича удивило, что дома какие-то низкие, а не небоскребы, как он ожидал, и довольно невзрачные: всё больше из кирпича или из коричневого камня и по фасадам зигзагообразно спускались уродливые пожарные лестницы. На них лежал совсем ещё белый, пухлый снег. А на тротуарах и посреди мостовой снег был уже притоптан и напоминал противную бурую кашицу, разлетавшуюся во все стороны из-под колес проезжавших мимо автомобилей. Скоро они подошли к воротам какого-то склада, где томилось уже много других плохо одетых и промерзших людей; все они переминались с ноги на ногу и у всех обувь давно отсырела, набухла от воды, и это придавало им особенно несчастный вид. Им выдавали лопаты, кирки и, разбив на небольшие группы, отправляли на работу.

В группе Алексея Ивановича, которой командовал тот же толстяк, других русских не было. Он сразу оказался человеком без языка. Рабочих посадили на грузовики и долго везли по широким, заснеженным

бульварам. Когда приехали на место, толстяк объяснил, что снег с тротуаров нужно сбрасывать на мостовую. Собственно, объяснений его Колесов не понял, а просто стал делать то, что делали другие, — шаркал лопатой по асфальту, поднимал пласты снега потолще и широким жестом сбрасывал их на середину мостовой.

Снова пошел снег, но работа не прекратилась и Колесов подумал, что американцы большие чудаки, — зачем чистить улицу, когда через час снова насыпет сугробы? За работой он быстро согрелся, скинул пальто и, бодро работая лопатой, думал о том, как хорошо всё складывается: первый день в Америке, и уже работает, а вечером получит за свой труд два доллара. При мысли этой он даже засмеялся от удовольствия и еще веселей принялся сгребать снег.

Толстяк, наблюдавший в сторонке за работавшими, медленно подошел к нему и сказал:

— Take it easy, Alex![1]

Фразы этой Колесов не понял, как не понял и того, что из Алексея Ивановича он вдруг превратился в Алекса. С непривычки, вероятно, обиделся бы.

— Языку надо выучиться поскорей, думал он. А то не поймешь, чего этот дядя по своему пролаял.

Дядя хотел, чтобы Колесов не слишком старался, — другие за ним не поспевали. Простояв минут пять, он снова подошел, но на этот раз уже с недовольным выражением лица, и снова повторил всё ту же короткую и загадочную фразу:

---

[1] — Полегче!

— Take it easy!

На этот раз Колесов сообразил, что им недовольны, и это обидело и огорчило его.

— Ишь ты, думал он, как будто стараюсь, сил не жалею. Другие просто ни черта не делают, как мухи осенние шевелятся, еле лопаты поднимают. А я уж сколько расчистил! Ну, конечно, видят — человек новый, и стараются выжать из него, как можно больше. Ладно, я уж покажу вам, как наш брат, русский, работает!

Поплевал Алексей Иванович себе на ладони, взялся снова за лопату и, раз по его мнению в дело был замешан престиж русского имени, пошел работать так, что пот градом с него катился. Поднимал на лопату громадные комья снега, лихо отбрасывал их на самую середину мостовой и чувствовал себя при этом не то жертвой американской эксплуатации, не то заслуженным героем труда. А в это время над героем труда собиралась настоящая гроза. Другие, за ним не поспевавшие, уже бросили работу, опирались на лопаты и неодобрительно поглядывали на этого «чудо-богатыря», явно решившего завоевать Америку. И толстяк, ни к кому специально не обращаясь, сказал, что он уже дважды советовал этому сумасшедшему работать полегче, чтобы другим не портить и не умереть от разрыва сердца, и что таких ему в группе не нужно. Выплюнув изо рта окурок сигары, он подошел к Колесову, забрал у него из рук лопату и лаконично сказал:

— Уходи. Довольно.

Так Алексей Иванович потерял свою первую работу в Америке. Но прошло еще не мало времени, прежде чем он разобрался в смысле происшедшего и понял, что означают слова take it easy, которые он впоследствии так часто слышал на работе, и к которым всё же никогда не смог привыкнуть. Работал он всегда тяжко, немного по-мужицки, ни от какого труда не отказываясь: месил цемент на постройке домов в Бруклине, был разборщиком, пока не свалился со стены и не сломал ногу; после этого случая пришлось малярствовать, потом работал на спичечной фабрике, мыл бутылки на пивоваренном заводе. Почему то Колесов нигде долго не задерживался, и всегда поражала его та легкость, с которой человека выгоняли с работы: протягивали несколько заработанных долларов и просто говорили: «Алекс, завтра не приходи. Больше не надо». И при этом не принимали во внимание ни то, как он старался, ни что был он человеком серьезным, непьющим и аккуратным. И почему-то очень часто увольняли его, а на работе оставляли лентяев, умевших ладить с начальством.

Так проходили годы. Позже, лежа на больничной койке, Алексей Колесов старался припомнить самые важные события из своей жизни и всегда удивлялся, как мало сохранилось их в памяти, и как ровно, спокойно, а, главное, быстро прошли эти тридцать с лишним лет в Америке... Года через три после приезда в Нью Иорк он познакомился на вечеринке в Русском Клубе с простой и приветливой русской женщиной, недавно овдовевшей и не знавшей, как ей

жить дальше. Роман с Машей вышел несложный. Он пригласил ее два раза в кинематограф, погулял как-то в воскресный день под ручку в Центральном Парке и во время этой прогулки серьезно и деловито изложил свои взгляды на жизнь. Она всплакнула, вспомнив о покойном муже, и сразу согласилась. Месяц спустя они обвенчались.

Маша убирала и стряпала, работала по богатым домам, и она научила его копить деньги, откладывая доллар за долларом. Скоро появилась у них и квартирка, — комната с кухней, свой угол, и пришлось обзавестись кое-какой мебелью, купленной по случаю у старьевщика. Жили они хорошо, оба работали, а по воскресеньям принимали друзей, больше холостяков из общежития, в котором жил до свадьбы Колесов. Один из них был земляк-белорусс, громадный и неповоротливый, как медведь, которому всегда было тесно в комнате. Он приносил с собой вино и, отдавая его хозяйке, говорил:

— Выпейте румку!

А другой был кубанский казак Шило, которого все почему-то называли станичником. Любил он к самому концу обеда пригорюниться и поговорить по душам. Глядя на счастливую семейную жизнь Колесовых, Шило пил, закусывал домашним пирогом с мясом и, когда бутылка была осушена, вытирая выступившие слезы на глазах, говорил:

— Алеша, исхожу я тоской: гибнет зря мужская сила... Найди мне жену, Алеша!

— Чего ж ты сам не найдешь?

— Не умею я... Ходил в газету, адвертайзмент пустил. Статейка такая: ищу мол хорошую женщину, цель — брак. Думал я, — откликнется родная душа, народит мне казачат и буду я рассказывать им про родную Кубань, про поля наши и нивы. Так ничего же не вышло. Найди, брат, жену, — какую можешь, хучь еврейку!

А что же стало с Шило и с земляком-волынцем? Что стало со всеми людьми, которых знал он когда-то, со старыми соратниками, что встречались раз в год в церкви, на молебне по случаю полкового праздника, с людьми, которые приехали в Америку на одном с ним пароходе, со всеми теми, с кем работал он долгие годы, делился надеждами и пил вино? Всех их разметала куда-то жизнь, разбросала по разным углам. Большой город Нью Иорк — люди приходят, уходят, исчезают на веки вечные... Что же было потом? Лет через шесть или семь получил Колесов вторые бумаги и стал американским гражданином. Как волновался он тогда, перед экзаменом! Вызубрил все ответы, знал всё, — и сколько есть сенаторов, и все добавления к Конституции, и что именно празднуется Четвертого Июля, а судья спросил только:

— Были ли вы когда-нибудь коммунистом?

— Контрари! ответил, волнуясь, Алексей Иванович.

Вскоре после этого он получил свидетельство об американском гражданстве и, по совету хозяина мастерской, в которой тогда работал, переменил для краткости свое имя, — из Колесова превратился в

мистера Коллс, но имя это значилось только в бумагах: при знакомстве называл себя прежней, русской фамилией.

Что же было в жизни Алексея Ивановича? Какую радость доставил первый автомобиль, купленный в кредит! Это был слегка устаревший Форд, сделавший уже около тридцати тысяч миль, но внешне машина выглядела вполне прилично и Колесов даже упросил приятеля сфотографировать его с женой в машине, за рулем... Эх, если бы можно было послать эту карточку домой, в Россию! Но в России уже никого не осталось в живых, письма больше никогда не приходили, и острота тоски по дому, от которой так страдал он в первые годы, постепенно притупилась и начала носить искусственный характер. На банкетах в Русском Клубе принято было говорить о любви к старой Родине, — обязательно с большой буквы, — но Колесов где-то в душе чувствовал неискреннюю напыщенность этих фраз и, возвращаясь домой, думал, что многие из тех, кто твердят на эмигрантских собраниях и банкетах о любви к родине, не захотели бы вернуться в Россию даже после свержения советской власти. Россия незаметно стала для них чужой, непонятной, а здесь сложилась уже прочная, спокойная жизнь, и квартира с ванной и горячей водой, и вот этот Форд, на котором в праздники они выезжали из Нью Иорка и колесили по шоссейным дорогам Америки, так напоминающим цветущие парки.

Незадолго до второй войны Колесовы обнаружили, что после двадцати лет упорного труда и эконом-

ной жизни они собрали изрядную сумму денег, лежавшую в сберегательной кассе. Именно в это же время, выезжая за город, они начали присматривать для себя домик с садом, — это была их давняя мечта, глухое желание «сесть на землю» и хоть на старости лет пожить, как старосветские помещики. Рисовался им небольшой, но крепкий дом, фруктовый садик и огород с поникшими от жары головками подсолнухов, и деревянный стол под яблоней у самой террасы, за которым в летние дни можно будет распивать чай с домашним вареньем.

Домик они купили в Коннетикуте, в полутора часах езды от города. Был он не совсем такой, как они мечтали, — неказист, староват, без особых удобств и всего пол акра земли, — всё больше аккуратно подстриженная травка, американский газон, которым очень гордился бывший владелец. Ни огорода, ни развесистой яблони не оказалось, но было несколько старых каштанов, дававших порядочную тень. В три года всё в этом доме и в саду изменилось. Алексей Иванович оказался неплохим плотником и мастером на все руки. С помощью соседа он пристроил к дому террасу с сеткой от комаров и мошкары, и на террасе этой, сообщавшейся с кухней, летом помещалась столовая. Выяснилось, что у американцев не принято обедать в саду, — разве только по случаю специального пикника, и тогда обязательно с сосисками, жаренными в садовом очаге; но такого очага у них не нашлось и есть пришлось внутри дома, да и мухи таким образом не разводились. Во время двухнедель-

ного отпуска, а кроме того по субботам и воскресеньям, работали они с утра до ночи. Вечно что-то нужно было покрасить, заменить испортившиеся трубы, починить протекавшую крышу... Садом заведывала жена. В глубине, за домом, был разбит огород, на котором выращивали сладковатые на вкус русские огурцы, помидоры и даже дыни и, конечно, не были забыты и подсолнухи; сосед американец не мог понять, как мистер и миссис Коллс лузгают семечки, и что находят они вкусного в этой пище, предназначенной не для людей, а для попугаев. Из большого садоводства выписали каталог, серьезно всё изучали и заказали, наконец, несколько фруктовых деревьев-пятилеток: яблони, вишни, груши и кусты крыжовника. Осенью копали ямы для деревьев и опять появился сосед, — он и его жена оказались милейшими людьми, всегда готовыми помочь словом и делом. Зато когда пришел День Благодарения, соседей пригласили на обед, — кроме индейки Маша сварила великолепный малороссийский борщ, испекла кулебяки с мясом и с капустой, и соседи долго потом хвалили этот обед, — ничего подобного они никогда не ели.

Во время войны стало трудно приезжать на дачу. Бензина было мало, а ехать поездом сложно, с пересадками. Да и работали на заводе, который выполнял военные заказы, не покладая рук, были сверхурочные, возвращался он домой поздно. Едва хватало сил, чтобы пообедать и, скорей, в постель. Но всё же и теперь изредка ездили в Коннетикут и с грустью замечали первые признаки запустения и одичания, — сад и

огород требуют внимательного, ежедневного ухода и не прощают пренебрежительного к себе отношения. Не подстрижена была зеленая изгородь, поднявшаяся в человеческий рост, грядки заростали сорными травами и всё, что нуждалось в частой поливке, засохло и погибло.

Кажется, именно с этого момента в жизни Алексея Колесова стал намечаться постепенный упадок. Началось это с мелочей, — вот этот, слегка заросший сорными травами сад, чувство физической усталости и апатии по утрам, какое-то глухое и непонятное душевное беспокойство и неудовлетворенность. Когда война кончилась и на заводе начались сокращения, Алексей Иванович дал себе небольшую передышку, дней десять отдыха, — первого за четыре года войны, а затем пошел искать работы. Очень скоро выяснилось, что найти новое место не так уж легко, ему было за шестьдесят, виски предательски побелели и работу давали людям помоложе. На старом месте, где его хорошо знали, и где к Колесову, в общем, отлично относились, хозяин похлопал рукой по плечу и сказал:

— Пока ничего нет. Почему бы вам не отдохнуть, Алекс? В ваши годы... Take it easy, take it easy!

Фразу эту, которой встретила его Америка в первый же день, теперь слышал он всё чаще и чаще, она преследовала его, нависла над ним, как некая угроза, мешавшая жить. Проходив два месяца без дела, Колесов начал брать работу случайную, плохо оплачиваемую, — то малярничал неделю, то помогал кому-то

при переезде на новую квартиру, и именно на этой работе, поднимая тяжелый сундук, он надорвался. В нижней части живота появилась тупая боль, не дававшая ему разогнуться и мешавшая дышать. Колесов промучался несколько дней и жена умолила его лечь в больницу, а на следующий день его оперировали. Потом он лежал в большой палате, полузакрыв глаза, о чем-то думал, стараясь понять, что с ним произошло, какие последствия всё это будет иметь для его будущей жизни и — не мог представить себе, что он стал инвалидом, и что никогда уже не сможет работать по настоящему и перекапывать грядки в саду... Поправлялся он очень медленно, истощенный организм не поддавался лечению, но наступил всё же день, когда его выпустили из больницы домой, сильно исхудавшего и ослабшего. Болезнь и операция съели много денег, ушло всё то, что было отложено за время войны, пропали все бесчисленные сверхурочные часы, проведенные за станком в мастерской.

Алексей Иванович перестал искать работу и подолгу сидел в кресле, почитывая газету, которая вдруг потеряла для него интерес, или просто дремал. Маши большей частью не было дома, — она работала по хозяйству у чужих людей, стирала, мыла полы, убирала, готовила и возвращалась поздно вечером, с несколькими долларами в кармане. Приходилось жить на ее скудные заработки. Штатного пособия, полагающегося за болезнь, он уже не получал, так как болел слишком долго, гораздо дольше того срока, который разрешает гуманный закон.

Друзья постепенно исчезли, да их много и не было. У каждого своя жизнь, свои заботы, а посещение больного никакой радости не приносит. Двагри приятеля вначале заглядывали, но постепенно визиты их становились всё реже и реже, — очевидно, они, как и закон, страхующий на случай болезни, считали, что Алексей Иванович болеет слишком долго и пропустил все приличествующие сроки. Когда друзья совсем перестали приходить, Алексей Иванович даже обрадовался: вид здоровых, работающих людей, теперь почему-то приводил его в дурное настроение.

Изредка заглядывал к больному врач. Хмуро щупал пульс, выслушивал сердце и говорил, что всё это — пустяки, он пропишет пилюли, и вообще нужно лежать спокойно и отдыхать. И уходя доктор говорил всё ту же знакомую фразу, звучавшую теперь как-то особенно зловеще:

— Take it easy!

Алексей Иванович промаялся еще несколько месяцев и, наконец, умер, — не то от полного истощения организма, не то от какой-то загадочной болезни, начавшейся у него в тот момент, когда он оказался лишним человеком, для которого не было ни работы, ни смысла в жизни, — от этого уж не могли помочь никакие пилюли. Отпевали его в маленькой русской церкви, и так как день был будний, на похороны пришло мало народу, и всё больше люди случайные. Похоронили его на русском кладбище. Над могилой Маша поставила восьмиконечный крест и приказала фамилию вырезать славянскими буквами, и на этот

раз, уже навсегда, раб Божий Алексий превратился из Коллса в Колесова. А несколько лет спустя легла рядышком, под этим же самым крестом, и сама Маша.

На этом кончается история обыкновенного человека, не имевшего биографии и общественных заслуг. Никто никогда не вспоминает Алексея Ивановича, прожившего трудовую и полезную жизнь. Наследников он не имел, завещания не оставил. Домик в Коннетикуте был года три спустя продан штатом. Приобрел его за гроши молодой американец, имевший жену, двоих детей, работу на заводе и маленький Форд.

Американец вырубил яблоню, которая слишком разрослась и не пропускала в дом солнца и уничтожил ненужный ему огород: овощи он покупал на соседнем супер-маркете. На месте огорода был снова посажен английский газон, который хозяин любовно стриг раз в неделю, поливал по вечерам, и который удался на славу.

РИО ТИНТО

МЕЛКИЕ, незначительные на первый взгляд случаи, сыгравшие роковую роль в истории человечества, в достаточной мере уже изучены. Но один такой случай остался неизвестен историкам и социологам по той простой причине, что главные его участники, вызвавшие катастрофу мирового масштаба, до сих пор хранили упорное молчание. Все сроки давности миновали, и теперь, будучи на пороге старости, я хотел бы облегчить душу чистосердечным признанием.

Лето 1929 года выдалось спокойное, довольно беспечное. Жил я тогда в Париже, был молодым журналистом, — занятие приятное, оставляющее не мало досугов. Надо сказать, что все вокруг вели сравнительно легкий и беззаботный образ жизни: о прошлой войне начали уже забывать, о войне будущей пока никто не думал.

О политике говорили, главным образом, в редакции, да и то нехотя. Серьезные соображения и доводы придерживали для статей, а между собой ограничивались больше шутками или колкими замечаниями: профессиональные журналисты вообще не очень уважают политических деятелей, а эти последние отве-

чают нам взаимностью. Разговоры наши никогда не переходили в спор, — спорить было не о чем, ибо все мы сходились на необходимости поголовного истребления парламентариев и министров. Нам тогда еще не приходило в голову, что при истреблении этом могут слегка пострадать и благородные труженики пера.

Очень трудно объяснить, как в редакции, состоящей из людей различных по характеру и темпераменту, постепенно устанавливаются какие-то неписанные правила и обычаи, которым все добровольно подчиняются. Существуют редакции, где все сотрудники без исключения живут на авансы; есть редакции, где не принято между собой здороваться и прощаться; в парижской русской газете люди просто и упорно не любили разговаривать. Каждый выполнял свою работу молча, с чувством оскорбленного самолюбия и некоторой горечи. Передовику казалось, что он должен быть редактором; редактор считал своим настоящим призванием министерский пост. И даже самый последний хроникер верил, что он создан для «большого репортажа»... Был доволен судьбой только один заведующий биржевым отделом. Звали его Яков Яковлевич. Был он милый, простой человек, глубоко убежденный, что каждый читатель газеты должен быть кровно заинтересован в курсе ценных бумаг, иностранной валюты и сырья. И, будучи натурой широкой и щедрой, что среди биржевиков случается редко, он спешил поделиться с нами своей информацией.

Обычно это происходило около пяти часов вече-

ра, после закрытия Биржи. Яков Яковлевич входил в редакцию с лицом значительным и даже вдохновенным, шел по коридору к своей рабочей комнате и, на ходу, открывая все двери, сообщал:

— Тенденция крепкая... Большой спрос на металлургическую группу.

В ответ на что ему иногда приходилось слышать фразы, имевшие к Бирже вообще, и к металлургической промышленности в частности, весьма отдаленное отношение. Это, однако, его нисколько не смущало и не отбивало желания свято выполнять свою миссию. Дойдя до двери моей комнаты он, так сказать, под занавес, выбрасывал свою главную сенсацию:

— Доллар закончен на два пункта ниже... Красота!

После этого он садился писать, покрывая страницу мелкими цифрами. Выписывал он фразу за фразой в сжатом, почти телеграфном стиле, однако не без эмоциональности, и очень огорчался, когда заведующий информацией, очень далекий от интересов финансового мира, безжалостно вычеркивал львиную долю его творчества.

Выполнив свой долг перед читателями биржевого отдела, Яков Яковлевич начинал слоняться по редакции в поисках живой души, которой он мог бы объяснить преимущества металлургических бумаг перед нефтяными. Иногда он усаживался у моего стола, — вне биржи нас объединяли некоторые другие, весьма простительные человеческие слабости, рассказ о которых несколько отвлек бы меня в сторону от основного сюжета.

В общем, мы были друзьями, и я убедился в этом, когда кроме общей информации о положении на Бирже, Яков Яковлевич начал давать мне и некоторые конфиденциальные сведения, ценившиеся, по его словам, в финансовых кругах на вес золота.

— Почему вы не играете на Бирже? с сокрушением спрашивал он с таким видом, словно я, вместо веры во единого Бога, исповедовал какую-то языческую религию. Все играют и все богатеют. На одной построчной плате далеко не уедешь. Дорогой, если бы Льва Толстого заставили писать построчно, то и он умер бы с голоду!

Хотя Лев Толстой на бирже не играл, я вежливо соглашался, — на одной построчной плате, действительно, нельзя было далеко уехать. И Яков Яковлевич в эти минуты превращался в Шехерезаду: он рассказывал о людях, которые сказочно разбогатели, купив во время какие-то алюминиевые акции по 5 франков за штуку и перепродав их затем по 127, — эти люди теперь живут во дворцах, ливрейные лакеи открывают им дверцы автомобилей, за обедом у них «икра льется рекой» и уж, конечно, они то не станут работать по франку за строку! Постепенно, капля за каплей, яд быстрого финансового обогащения входил в мою душу и я ловил себя на странных калькуляциях, — сколько мог бы я заработать, имея пакет в тысячу акций, — дальше тысячи акций воображение мое не шло; заработок получался очень солидный. На покупку дворца его не хватило бы, но если поехать затем в Монте Карло и поставить все

заработанные деньги в рулетку на финал семерки, — некоторое время можно было бы прожить легко и приятно.

— Не забегайте вперед, говорил Яков Яковлевич, и не смешивайте двух столь разных дел. Рулетка — это игра, в то время как Биржа основана на знании финансового положения страны, экономических законов и на здоровой калькуляции.

Иногда сомнение закрадывалось в мою душу. Бывали же, в конце концов, случаи, когда люди теряли даже на бирже?

— Невежды! говорил Яков Яковлевич. Только невежды. При знании финансового положения страны и некоторых аналитических способностях... Смотрите, что делается в Америке: на Волл Стрите все бумаги идут вверх. Президент Хувер, понимающий в экономических вопросах не меньше нас с вами, только что заявил журналистам, что «Просперити — за углом!»

И, сходя на трагический и конфиденциальный шопот, он продолжал:

— Как говорит поэт, нужно только не опоздать на пир жизни. Есть такая бумага: Рио Тинто. Вы, конечно, знаете это имя и мне не нужно рассказывать вам, насколько солидно всё предприятие.

По совести говоря, о Рио Тинто я слышал впервые, но самолюбие мешало мне расспросить, что это было за предприятие. Может быть — название реки в Южной Америке. Может быть, золотые россыпи в Африке. Не знаю я этого до сих пор, но теперь это имеет чисто академическое значение.

— Да, пробормотал я, Рио Тинто... Конечно...

— Дайте мне три тысячи франков, трагически понизив голос сказал Яков Яковлевич, и я сделаю вас богатым человеком!

Никаких принципиальных возражений против того, чтобы стать богатым человеком у меня в этот момент не было. Но не было у меня и трех тысяч франков. Я обещал подумать и поговорить с приятелем, которого также могла соблазнить жизнь во дворцах и возможность поехать в Монте Карло с беспроигрышной системой в кармане.

Приятель был человеком из делового мира и я знал, что к предложению моему он подойдет с трезвым скептицизмом.

Вечером, за обедом, с беззаботным видом я сказал:

— Дай мне три тысячи франков, и я сделаю тебя богатым человеком. Рокфеллером или кем-то в этом роде.

Кандидат в Рокфеллеры насторожился: к моим финансовым способностям, не без основания, он относился с несколько преувеличенной осторожностью. Решив играть в открытую, я объяснил ему весь план:

— Сейчас на Бирже каждый дурак превращает пять франков в сто двадцать семь. В Америке всё катастрофически идет вверх. Хувер сказал, что просперити — за углом... Одним словом, наше с тобой просперити заключается в приобретении пакета акций Рио Тинто. Ты, конечно, знаешь это предприятие и я не должен тебе рассказывать, что такое Рио Тинто?

Приятель солидно кивнул головой и я сразу понял, что о Рио Тинто он тоже никогда не слыхал. Но это был хороший друг. И он очень хотел, чтобы мы вместе разбогатели. Помолчав минуту он спросил:

— Пополам? По полторы тысячи каждый?

На минуту я вспомнил о построчной плате: чтобы заработать полторы тысячи франков, нужно было написать полторы тысячи строк или пять «подвальных» фельетонов. И ценой этого усилия — богатство на всю жизнь! Было бы смешно и малодушно колебаться. Я пожал руку своему новому компаньону и, тоном профессионального кассира, спросил:

— Разрешите пересчитать?

Мы пересчитали, и на мгновенье обоим почему-то сделалось грустно, словно безоблачное небо вдруг начало затягиваться тучами. Но признались мы в этом друг другу много позже, когда Рио Тинто больше не представлялось нам, как некое подобие гибралтарской скалы.

На следующий день Яков Яковлевич явился в редакцию в урочный час, сообщил, что на бирже — крепко, шерсть в спросе, металлы — без перемен, и получил от меня поручение купить Рио Тинто на тридцать тысяч франков. В те благословенные времена можно было внести в банк всего десять процентов стоимости покупаемых бумаг.

Яков Яковлевич с чувством пожал мне руку, как на похоронах близкого существа. Так мы стали акционерами Рио Тинто и вступили на путь богатства. Если бы я только знал, какими терниями усеян этот

путь! Прежде всего, я потерял сон и аппетит: мне стали мерещиться миллионы. При удачном стечении обстоятельств и при просперити за углом, сравнительно скромный пакет акций мог быстро превратиться в огромное состояние. Но что с ним делать дальше? Возникла новая проблема — выгодного помещения денег. Недвижимое имущество или новые, еще более доходные акции?

Вечером, в первый же день, я купил газету с финансовым отделом и принялся разыскивать курсы биржевых бумаг. Нужно было установить, сколько мы с приятелем заработали в этот день. Рио Тинто среди котируемых бумаг вообще не оказалось. Очевидно, я был новичок в этом деле и искал не там, где следовало. Всё же, финансовая газета в кармане придавала мне солидный, даже несколько капиталистический вид, и именно с таким видом я явился в этот день в редакцию делать хронику. Составление хроники не было работой чрезмерно увлекательной, но сознание, что этот этап жизни подходит к концу, так как богатых хроникеров вообще в природе не существует, на этот раз меня очень поддержало.

Часам к пяти появился Яков Яковлевич. Котелок его почему-то был на этот раз надвинут на глаза и вид он имел довольно растерянный. Молча прошел мимо всех дверей, нигде не останавливаясь, заперся у себя в комнате и долго творил. Наконец, я не выдержал и, с деланно равнодушным видом, заглянул к нему в комнату и спросил:

— Ну-с, как мы сегодня стоим?

Я был уверен, что именно таким тоном Вандербильд разговаривает со своим биржевым маклером. Мой маклер промычал что-то неопределенное о флюктуациях Биржи, по всей вероятности вызванных приближением конца месяца и массовыми ликвидациями бумаг. Что именно означали флюктуации Биржи я в точности не знал, но затем довольно быстро сообразил, что это сильно смахивает на «выравнивание фронта» и «отход на заранее подготовленные позиции», — термины, которыми обычно пользовались военные обозреватели, писавшие об отступлении по всему фронту.

Вечером мы устроили с приятелем некое подобие военного совета в Филях. Совещание открылось с моих довольно путанных объяснений о финансовых флюктуациях Биржи, предусмотреть которые заранее так же трудно, как метереологам дать безошибочное предсказание погоды за десять дней вперед. Приятель молча пил водку, закусывал черными маслинами и слегка вздыхал. Он, видимо, уже прощался со своими полутора тысячами, но всё же уверял меня, что теперь — вся надежда на президента Хувера: дядя Сэм не выдаст.

Дядя Сэм выдал нас на следующий день. Вечерние газеты вышли с большими заголовками, не предвещавшими ничего доброго: «Черная Пятница на Нью Иоркской Бирже». В телеграммах сообщалось, что на нью иоркской бирже паника, все ценности начали катастрофически падать, и что дельцы на Волл стрит выбрасываются из окон... Примеру самоубийц мы не

последовали, но на утро из банка пришло письмо с извещением, что акции Рио Тинто упали больше чем на десять процентов, что счет наш оказался без покрытия, и что если мы не внесем немедленно еще 3.000 франков, бумаги будут проданы по курсу дня.

Денег мы не внесли и дальнейшая судьба Рио Тинто, лишенного нашей финансовой поддержки в самый критический момент своего существования, мне неизвестна.

В результате этой биржевой флюктуации Яков Яковлевич перестал заходить ко мне в комнату и сообщать о положении рынка... Я теперь глубоко убежден, что крах 1929 года и последовавшая за ним долголетняя мировая депрессия были вызваны нашей безудержной биржевой игрой. Сколько месяцев подряд Биржа повышалась, люди богатели, и стоило нам купить Рио Тинто, как начался крах и всё полетело вверх тормашками... Очевидно, эта операция и была той каплей, которая переполнила чашу и вызвала немедленную катастрофу.

Я счел долгом облегчить свою душу для того, чтобы ознакомить экономистов и будущих историков с подлинной причиной мировой депрессии двадцать девятого года.

ПАРИЖСКАЯ ВСТРЕЧА

В штате Мэйн, даже летом, выдаются очень холодные дни. С утра небо бывает особенно синим, воздух прозрачно-хрустальным и в тени — холодок, словно где то поблизости расположены снежные поля. От такого утреннего холода, наполнившего ее комнату, Флоренс Томсон проснулась особенно рано. На мгновенье зажмурилась, — от яркого света, бившего прямо в глаза, от радости жизни: она была очень молода и каникулы только начинались. Впереди было длинное лето, — чтение, купание в ледяной воде океана, которая сразу обжигала тело, прогулки в сосновом лесу, где среди прошлогодних щепок и хвороста, оставленного лесорубами, густо росли малина и ежевика.

До утреннего завтрака оставалось много времени. Можно было еще понежиться в постели, свернувшись клубочком, стараясь согреться под одеялом. Но Флоренс откинула его, пересилив лень, сунула ноги в туфли и подошла к окну, на ходу натягивая на себя халатик. Под окном она увидела такой знакомый и привычный вид: бурые скалы, обнажившиеся во время ночного отлива, с приросшими к ним черными

раковинами и крошечными морскими улитками, узкий песчаный берег, на котором умирали водоросли, сильно пахнувшие иодом, а затем начиналось очень зеленое и холодное море.

В заливе увидела она рыбачью лодку. Это Сэм Вудворт, живший по соседству, объезжал расставленные с вечера свои ящики-ловушки для лобстеров. У каждого буйка лодка останавливалась, и Вудворт принимался за работу. Сначала втаскивал в лодку деревянный буек, потом начинал драйвить канат, — мокрый, поросший зеленой травой и скользкий. Вода, от которой быстро леденели руки, лилась с каната на дно лодки и на высокие резиновые сапоги рыбака. Наконец, на поверхности показывался продолговатый ящик. Самюэль поднимал его на борт одним рывком, копошился на дне, бросая в бочку темно-коричневых, почти бурых лобстеров, отчаянно работавших клешнями. Потом корзинка с подвешенным к ней камнем снова отправлялась на дно, а лодка уходила к следующему буйку.

Всё это было знакомо с детства, и всё это Флоренс любила больше всего на свете. Она родилась в этом самом доме на берегу океана, прожила в нем большую часть своей короткой жизни и уезжала только в колледж, зимой. Еще было свадебное путешествие во Флориду, — короткое и такое неудачное, что она вернулась домой одна. Роман и брак оказались ошибкой. С тех пор прошло три года. Флоренс не знала, что стало с ее бывшим мужем и старалась о нем не вспоминать. Особенно не хотелось ей думать

о нем в это солнечное июньское утро, — все вокруг напоминало о детстве, о том счастливом времени, когда *это* еще не вошло в ее жизнь и когда она не знала, что по ночам можно плакать от тоски и обиды.

Она медленно обошла комнату, потрогала почему-то корешки своих книг на полке, легко провела рукой по дубовому, до блеска натертому воском столу, потом села в кресло у дверей и снова взглянула в окно, на котором слегка шевелились белые, кисейные занавески.

В окне она увидела голову человека, пристально смотревшего на нее.

***

Собственно, это было не живое существо, а призрак, — непонятный, но имевший определенную и точную человеческую форму. Каким то странным образом солнечные лучи насквозь проходили через его тело. Оно было метафизическим, несуществующим, и в то же время присутствие его ощущалось в комнате настолько отчетливо, что Флоренс хотела закричать. На мгновенье ей стало очень страшно.

— Может быть, подумала Флоренс, я сплю, и всё это мне снится, — и эта комната, и видение в окне?

Флоренс выждала немного и начала внимательно вглядываться в незнакомца. Он стоял неподвижно, слегка наклонив голову. Человек казался ей высоким, сухощавым, не особенно молодым, и глаза у него были грустные и внимательные. Видение пугало ее,

становилось невыносимым, и она решила проснуться, ущипнула руку, почувствовала боль, но человек не исчез, продолжал стоять в окне и только на лице его появилась легкая улыбка. Тогда она позвала, и в комнату почти тотчас же вошла ее мать: «Доброе утро, какой прекрасный день, Флоренс! Завтрак будет готов через десять минут. Кухарка спекла твои любимые булочки...»

— Мама, сказала Флоренс, посмотри в окно. Что ты видишь?

Миссис Томсон подошла к окну, выглянула наружу и ответила:

— Ничего... Да, конечно, Сэмюэль уже объезжает свои ящики. К завтраку у нас будут горячие лобстеры с топленным маслом, каких ты не имеешь в Нью-Йорке, и яблочный пирог.

Тогда Флоренс отвела свой взгляд от матери и внимательно посмотрела в сторону окна. На нем попрежнему шевелились белые занавески, сияло солнце, и с берега доносились гортанные крики чаек, пожиравших мелких крабов и рыбешку, выброшенную на берег начинавшимся приливом.

Человек, стоявший в окне, исчез.



— Я хочу ехать в Европу, сказала на следующий день Флоренс.

Люди из Новой Англии обычно очень сдержанны и не экспансивны. И хотя то, что сказала Флоренс,

родителей поразило своей полной неожиданностью, они приняли известие внешне спокойно. Отец взглянул на мать и сказал, что это — прекрасная идея; каждый человек должен хоть раз побывать в Европе, — хотя бы для того, чтобы потом еще больше оценить и полюбить Америку. Они с мэмми были в Англии и во Франции незадолго до первой войны, еще до рождения Флоренс. Это была приятная поездка, в обществе очень милых людей, и все они отлично провели время. Конечно, за-границей нужно быть очень осторожной в знакомствах и умеренной в еде и питье: вся хваленая французская кухня не стоит хорошего американского стэйка с печеной картошкой из Айдахо, а шампанского лучше всего вообще не пить, — от него только болит голова.

— Мы заказывали в ресторанах молоко и хотя они удивлялись, но всегда подавали, сказала мать таким тоном, словно вопрос о молоке был главным препятствием к поездке.

Флоренс получила еще много других полезных советов по поводу того, что можно и чего нельзя делать в Европе, адрес приличного семейного пансиона в Лондоне, куда она должна была заехать и, в заключение, довольно крупный чек на расходы по поездке. Родители решили, что молодая женщина скучает, ей нужно прокатиться. И, кто знает, — она может встретить на пароходе или в Европе человека своего круга, из приличной американской семьи. Почему именно этого американца нужно было искать в Европе они в точности не знали, но чувствовали, что

найти его в деревушке Мэйна она не сможет. А в Нью-Иорке, где Флоренс жила зимой на своей квартире близ Гремерси Парк, встретить такого человека она и подавно не могла: в Нью-Иорке живут люди, говорящие по-английски или совсем плохо, или со странным, не очень приятным акцентом, непонятного происхождения...

И недели через три, распрощавшись с родителями, Флоренс Томсон вернулась в Нью-Иорк, а затем выехала в Европу на большом английском пароходе.

**
*

На пароходе этом она не встретила молодого человека из хорошей американской семьи, о котором мечтали ее родители. И в Европу плыли всё те же люди, плохо говорившие по-английски, или семейные пары, или англичане, возвращавшиеся к себе на родину и не очень искавшие новых знакомств.

На пятый день они подошли к Шербургу и стали на рейде. На борт поднялись низкорослые французские чиновники Сюртэ, начали проверять документы и ставить печати на паспорта. Целая армия хриплых и шумных носильщиков, заранее недовольных чаевыми, потащила на катер чемоданы пассажиров, сходивших в Шербурге.

И, совершенно неожиданно для себя, мисс Томсон решила, что она тоже сойдет в Шербурге и не поедет в Англию, — семейный пансион, в котором тридцать лет назад останавливались ее родители, вдруг пока-

зался ей скучным и ненужным. Позже, когда она рассказывала мне свою историю, Флоренс призналась, что в этот момент с ней произошло что то непонятное. Низкий берег Франции был близким, знакомым с детства, и какой-то внутренний голос сказал, что она должна сойти с парохода здесь, в Шербурге, и сразу ехать в Париж.

В поезде, который вез ее в Париж, она всё время смотрела в окна вагона. Сменялись, убегали сочные, зеленые пастбища Нормандии. Мирно пощипывали траву пятнистые коровы, косившие глаза на проходивший мимо поезд; мелькали серые деревушки с невысокими церковными колокольнями, с кучами навоза у каждого домика и поля с рядами низкорослых, корявых яблонь. В небе плыли легкие облака, розовые от заката.

В вагон-ресторане она хотела заказать молоко, но почему то ткнула пальцем в бутылку красного вина, уже стоявшую перед ней на столике. Вино очень понравилось и незаметно она выпила его до конца. К ее удивлению, голова не разболелась ни в этот день, ни на следующий, когда она проснулась в комнате отеля Крийон, на плас де ла Конкорд. Из окна ее комнаты были видны зеленые верхушки деревьев, и Флоренс потянуло на улицу, на Чамсес Элайсес, точного французского произношения которых она сразу выговорить не смогла.

Цвели и сладко пахли липы. Гроздья тяжелых белых цветов свешивались с каштанов. Она бродила по городу целый день, не чувствуя усталости, совершен-

но пьяная от особенного, парижского воздуха. Присела за столиком на террасе ресторана и была очень удивлена, что в меню не оказалось простого сандвича, а подали ей большой и очень вкусный завтрак. Флоренс, всю жизнь заказывавшая на завтрак сандвич и чашку кофе, на этот раз всё съела, — и какой-то очень вкусный «рийет де Норманди», и кровавый бифштекс с зеленым крессоном и жареным картофелем, и пахучий, еще не начавший бродить сыр Бри с остатками соломки на золотистой корочке. Она заказала и съела даже кусок торта со свежей лесной земляникой, густо посыпанной сахаром, со взбитыми сливками... Как медленно протекало кофе в фильтре! Капля за каплей, и Флоренс как зачарованная смотрела на эти медленно падавшие в стакан капли кофе, в первый раз в жизни наслаждаясь этой медлительностью и охватившей ее непреодолимой ленью. И люди, сидевшие вокруг в ресторане, видимо, тоже никуда не торопились и наслаждались едой, вином, крепким кофе, видом прохожих, — перед каждым из них была вечность.

Вечером Флоренс вошла в холл отеля Крийон. Лысый портье в сюртуке, с золотыми нашивками, приветливо поздоровался и, любезно улыбаясь, протянул ей ключ от комнаты. Она взяла ключ и направилась к лифту и вдруг, посреди холла, остановилась и растерянно отошла в сторону, а потом села у столика для корреспонденции.

В центре холла, на диване, она увидела того самого человека, который явился ей в окне, в солнеч-

ное утро, в Мэйне. Он смотрел на Флоренс внимательными и немного грустными глазами. На этот раз это было не видение и не явление метафизического порядка. Это был живой человек, — высокий, сухощавый, в руках он держал палку с набалдашником из слоновой кости и на ногах его были гетры, — так еще одевались люди в Париже в тридцатых годах.

Флоренс взяла из ящика стола листок бумаги и широким, размашистым почерком, написала:

— Подойдите ко мне. Я хочу с вами поговорить.

Позже она никогда не могла объяснить, почему записка эта была написана и как она осмелилась послать ее с грумом незнакомому человеку, сидевшему в десяти шагах от нее. Тот внутренний голос, который заставил ее поехать в Европу, который приказал сойти с парохода в Шербурге и направиться в Париж, — этот же самый голос продиктовал ей записку... Господин в гетрах прочел ее, поднялся с места и, подойдя, словно он давно знал, что встреча произойдет, сказал:

— Добрый вечер, Флоренс.

Флоренс не удивилась, что он назвал ее имя. Ей казалось, что они знакомы давно, всю жизнь, быть может, она знала его еще раньше, в каком-то другом мире, — в этой встрече для нее не было ничего таинственного или неожиданного. И он не стал задавать вопросов, — ему, видимо, тоже всё показалось в этой встрече давно предрешенным. Много лет спустя, в Нью-Иорке, когда мисс Томсон рассказывала мне о своей парижской встрече, она попрежнему ничего не могла и не старалась объяснить. В сумочке ее лежала

старая фотография, сломанная посредине, — моментальный снимок, сделанный на улице бродячим фотографом. На снимке был изображен человек аристократического вида, в шляпе с узкими полями и в костюме с высокой талией. В руках у него была трость с набалдашником и на ногах — белые щегольские гетры. Снимок был сделан на фоне казино Монте Карло, в садике с пальмами, в то время, когда они поехали вместе на Ривьеру. Вся встреча продолжалась недолго, несколько недель. Он почему то недолюбливал Париж и говорил, что в июле все порядочные люди уезжают и остаются только лавочники и туристы-иностранцы. Они уехали на Юг, осматривали пыльный и выжженный солнцем Прованс, делали покупки в Канн, на Круазетте, и неудачно играли в казино Монте-Карло. В этом месте рассказ Флоренс делался сбивчивым и не совсем понятным. В памяти ее запечатлелись только отдельные моменты, но связной картины ее жизни в Париже и на Ривьере не получалось. Отчетливо помнила она какой-то завтрак на острове Лерэн, — под пиниями, на воздухе. Был сухой, жаркий день, громко стрекотали цикады, и ледяное шампанское чуть-чуть кололо в нос, — молока на острове Лерэн не нашлось. И омары, которые затем подали, были приготовлены даже лучше, чем в Мэйне, где их просто варили в морской воде с водорослями. Как они объяснялись? Она почти не говорила по-французски, а он с трудом находил нужные английские слова. Но этого оказалось вполне достаточным, они понимали друг друга и всё было так просто, как никогда в жизни,

— временами оба думали, что они давно, бесконечно давно знают друг друга, и что встреча в холле отеля Крийон была продолжением других встреч, новым звеном в какой-то длинной цепи, начала и конца которой не было видно... И всё же конец настал. Также внезапно, как она решила ехать в Европу, Флоренс почувствовала, что ей пора вернуться в Америку, в свою одинокую квартиру на Гремерси Парк.

Он не удивился и не просил остаться, ему это тоже представлялось нормальным и предопределенным с самого начала. Последний вечер они провели вместе в Ницце, на террасе, откуда любовались видом на Бухту Ангелов и на далекий Эстерель. Бриллиантовым ожерельем убегала в даль гирлянда фонарей на променаде и где то в конце, на краю света, через определенные промежутки времени, загорался и гас огонь маяка. В саду, который полили перед вечером, цвели поздние, осенние цветы. От теплой, влажной земли шел пряный и сладкий дух.

На утро он повез ее на вокзал, — пустой, раскаленный от солнца, с клумбами цветов и серыми, пыльными кактусами. Они молчали, гуляли по платформе, думая о своем, и вдруг откуда то, со стороны Монте Карло, со свистом и ревом примчалось окутанное белым паром чудовище, — мелькнули зеркальные стекла синих международных вагонов экспресса «Пари-Лион-Медитерранэ» и кондуктора, стоявшие на подножках, через минуту засвистали и протяжно закричали:

— En voiture, s'il vous plait!

Она вышла на площадку вагона. Человек с груст-

ными и внимательными глазами стоял на платформе, приподняв шляпу над головой, и ждал, когда тронется поезд. Поезд, наконец, тронулся, сначала очень медленно, потом начал забирать ход, и он пошел за вагоном, всё еще держа шляпу над головой, постепенно стал отставать и вдруг сразу исчез с глаз... Это было давно, много лет назад, и от всей этой встречи осталась только выцветшая сломанная фотография. Флоренс Томсон никогда больше в Европу не ездила и не пыталась разыскать после войны человека, который так странно и непонятно вошел в ее жизнь и так же непонятно из нее выпал.

Она живет попрежнему в Нью Иорке, в квартире на Гремерси Парк, уставленной книгами, посещает лекции в музеях и бывает по четвергам в концертах Филармонии. Летом она живет в старом доме на берегу океана. По утрам в комнату доносится гул прилива, с океана дует соленый ветер, и белые занавески слегка трепещут в пустом и всегда открытом окне.

В НЕДРАХ АВРААМА

Когда то Николай Александрович был присяжным поверенным, но в эмиграции ему пришлось заняться делами, имевшими весьма отдаленное отношение к праву. О делах этих бывший присяжный поверенный говорил знакомым с улыбкой снисходительной, — дескать, ничего не поделаешь, темпора мутантур, так сложились обстоятельства. Обстоятельства складывались различно: Николай Александрович одно время занимался какими то выморочными имуществами, потом открыл фабрику настоящего кавказского ягурта, носился с проектом журнала типа «Жар-Птица» и, в конце концов, потерял свои последние деньги.

Кончилось всё это экспортной конторой, небольшой комнатой в деловом квартале Нью Иорка. В экспортном деле также чувствовался кризис. Но в контору свою Николай Александрович ходил аккуратно, просиживал там до вечера, читая газеты или разговаривая с друзьями по телефону. Друзей было много, и когда Николай Александрович несколько раз неосторожно повторил, что ему скоро стукнет шестьдесят лет, заговорили о необходимости устроить ему юбилей. Кандидат в юбиляры энергично запротесто-

вал. Человек он был скромный и, хотя, по собственному его выражению, не мало потрудился «на общественной ниве», от публичного чествования наотрез отказался. Говорил он о своем отказе так долго и упорно, что друзьям пришлось, в конце концов, образовать юбилейный комитет. Чествование было назначено на осень, но оно не состоялось: помешала внезапная смерть Николая Александровича.

В жаркий летний день он вернулся из конторы раньше обычного и сказал жене, что чувствует себя плохо. Елена Ивановна всполошилась, бросилась искать доктора, но время было каникулярное и знакомые врачи, как на зло, все разъехались. Наконец нашла одного, совсем чужого человека. Он пришел поздно вечером, послушал сердце, пощупал печень и сказал, что пока ничего определить нельзя, но, вероятнее всего — желудок. В жаркую погоду это случается часто. Прописал слабительное и сказал, что придет еще раз утром. А ночью Николай Александрович громко вскрикнул и умер, так и не успев проснуться.

Время было летнее, глухое, и на отпевание пришло мало народу... Все члены юбилейного комитета оказались в разъезде. Всё же в церкви набралось десятка два знакомых. Они стояли с виноватым видом, переминаясь с ноги на ногу, и покорно слушали негромкие возгласы священника, мерно позвякивавшего кадилом. После отпевания батюшка сказал слово, которое на следующий день в местной русской газете было названо «прочувствованным». Он говорил о последнем могикане русской интеллигенции, который

много потрудился на ниве общественной, и мирно теперь упокоится в недрах Авраама и с праведными сопричтется. Елена Ивановна плакала. Украдкой смахнули слезу два старых судебных деятеля, — оба они покойника не любили, но сами считали себя последними могиканами.

Особенно религиозным человеком Николай Александрович не был. В церковь ходил только на панихиды, да раз в год бывал на молебне по случаю годовщины Судебных Уставов. В загробную жизнь и в радость вечную не верил, и как то очень твердо сказал жене, что «если что либо случится» — просит его тело сжечь. Теперь это «что либо» случилось и наступил момент выполнить волю покойного.

***

Елена Ивановна была женщиной сентиментальной и предпочла бы старомодное погребение на кладбище, и потом, раза два в год, ездила бы на родную могилку с цветами. Но Николай Александрович, человек прогрессивных идей, определенно хотел кремации. И вот теперь из церкви тело его повезли в крематорий. Поехала в крематорий Елена Ивановна и еще три человека, названные в газете членами семьи и ближайшими друзьями: какая то дама, считавшая себя дальней родственницей, представитель Союза Русских Адвокатов, который до последней минуты надеялся сказать надгробную речь и так и не сказал ее за

отсутствием слушателей, и какой то совсем чужой старичек, вообще не знавший покойного, но очень любивший бывать на похоронах.

Так как церемония была скромная, по третьему разряду, орган в крематории не играл. Гроб как то сразу унесли в боковую комнату. Ждать нужно было в часовне. Было совсем тихо. Через стрельчатые окна с цветными стеклами лился желтый свет... Минут через пятнадцать судебный деятель не выдержал и, поёрзав некоторое время, подошел к вдове, — он очень жалеет, но неотложные дела заставляют его уехать в город до конца печальной церемонии. Он сказал еще несколько приличествующих случаю слов, выразил соболезнование от лица всей зарубежной русской адвокатуры и направился к выходу. В часовне остались только сомнительная родственница и старичек, терпеливо ждавший выноса.

Но никакого выноса не произошло. Ровно через час появился господин в черном костюме, с черным галстуком («как он может ходить так в подобную жару?» успела подумать Елена Ивановна), склонился перед вдовой и грустным голосом сказал, что кремация закончилась.

— Урна с останками, — сказал он, — будет доставлена к вам на квартиру через два дня.

Тут нужно пояснить, что представитель похоронного общества, накануне сговаривавшийся с Еленой Ивановной о всех деталях, спросил, что ей угодно делать с урной? Большинство оставляет урну на хранение в колумбарии. При этом он ловко вынул из

портфеля и показал красиво переплетенный альбом со снимками колумбария: полукруглая галлерея, в которой, словно сейфы в банковской стене, были замурованы бесчисленные ящички. Белые мраморные дощечки с именами дорогих покойников возвышались во много ярусов, образовывая как бы два этажа. В галлерее к услугам посетителей были передвижные лестницы и Елена Ивановна сразу вообразила, как она будет взбираться на такую лесенку и потом сидеть на верхней ступеньке, как ворона на ветке. Представитель похоронного общества далее сообщил, что за сравнительно небольшую приплату к мраморной дощечке можно приделать стеклянную вазочку для цветов, что придает замурованной урне некоторый индивидуальный отпечаток. Но Елена Ивановна замотала головой и сказала, что вся идея колумбария и сидения на лесенке ей не нравится: нельзя ли получить нишу в нижнем ряду? Оказалось, что внизу всё уже давно распродано. Вакансии имелись лишь во втором ярусе.

— Что же делать? — спросила Елена Ивановна. И для чего Коля придумал всю эту кремацию, вместо погребения, как у обыкновенных людей?

И она даже позавидовала женщинам, которые могут поехать на кладбище, на могилу, вместо того, чтобы карабкаться на какую то лесенку и сидеть там не шевелясь, из боязни слететь вниз. Тогда посетитель сказал, что выход из положения есть. Многие просто берут урну с прахом домой и хранят ее у себя, в родной и привычной для покойника обстанов-

ке. Это избавляет семью от утомительных поездок на кладбище или в колумбарий и, конечно, от лишних расходов, связанных с хранением урны.

Елена Ивановна не спала всю прошлую ночь, очень устала и страдала от мигрени. Нужно было как можно скорей принять решение и избавиться от неприятного посетителя. И она сказала, что ей это подходит, да, конечно, урну можно хранить дома и это лучше, бедный Коля будет всегда здесь, с ней рядом.

Вот почему через два дня после кремации на квартиру принесли простой деревянный ящичек не очень больших размеров, нечто вроде шкатулки.

Елена Ивановна бережно внесла ее в столовую и поставила посреди обеденного стола, накрытого, как всегда, клеенкой.

***

Квартира Николая Александровича была небольшая, беженская. При жизни он отлично в ней помещался с женой и находил ее в какой то степени даже уютной и просторной. Но после смерти, когда Николай Александрович превратился в несколько горстей праха на дне шкатулки, оказалось, что занимает он очень много места, и что оставаться вдвоем в квартире с Еленой Ивановной ему очень трудно.

Первый день после своего возвращения он провел в столовой, посреди стола, на котором были постав-

лены две зажженные свечи и ваза с цветами. На следующий день цветы завяли, а свечи Елена Ивановна решила больше не зажигать, — она по натуре была человеком довольно жизнерадостным, и эта похоронная атмосфера в доме ее начинала тяготить. Так как обеденный стол был ей нужен, она поставила урну на буфет. К вечеру зашли проведать вдову самозванная родственница и еще одна знакомая дама. Увидев урну на буфете, они смутились, отказались от предложенного чая и поспешили уйти. На следующий день был с визитом старый приятель мужа, только что приехавший с каникул и пропустивший похороны. Он начал расспрашивать, но когда Елена Ивановна дошла до кремации и показала урну на буфете, приятель изменился в лице и сказал, что зайдет как нибудь в другой раз, но напрасно, всё-таки, она взяла прах домой. Раны нужно залечивать, а тут, всегда на глазах. «Мертвый в гробе мирно спи, жизнью пользуйся живущий», процитировал он и попятился к дверям, оставив Елену Ивановну пользоваться жизнью.

Елена Ивановна и сама уже досадовала, чувствуя, что совершила ошибку: нельзя же угощать людей, заходящих в гости, видом покойника на буфете? Шкатулка была в тот же день перенесена из столовой в спальню, но для этого пришлось убрать со столика радио-аппарат. Конечно, сейчас было не до музыки, но радио свое Елена Ивановна очень любила и убрала его в шкаф не без сожаления... Посреди ночи она проснулась, сразу вспомнила о шкатулке, стоявшей

рядом, на столике. Ей стало жутко. Под утро, намучившись, она приняла успокаивающие капли и начала придумывать, куда бы поставить злополучную шкатулку? Но подходящего места в квартире не было: в комод урна не входила, платьевой шкаф был переполнен, в другом шкафу было место, но там стояли чемоданы и какие то пакеты с ненужными вещами, — это было слишком оскорбительно.

Попробовала она поставить урну на своем туалетном столике, с которого пришлось убрать все фривольные, но в общем необходимые вещи — банки с кремами, флакон одеколона, пудренницу. На третий день, второпях, Елена Ивановна положила на шкатулку свои перчатки и потом долго мучилась: какое кощунство! При жизни Николая Александровича бывали дни, когда она совсем не замечала присутствия мужа. Теперь же Елена Ивановна чувствовала его постоянно, каждую минуту, он прочно вошел в ее существование, руководил всеми ее решениями, — это был загробный реванш человека, при жизни очень мало интересовавшегося тем, что думала и как поступала его жена, и теперь не оставлявшего ее ни на одно мгновенье.

Днем это невидимое присутствие было еще сносно, но по ночам оно принимало какие то кошмарные, бредовые формы. Лежа в темноте, с раскрытыми глазами, она вспоминала всю свою несложную и пустоватую жизнь, мысленно беседовала с мертвецом в шкатулке и ей казалось, что она постепенно теряет рассудок, и что если урна останется в квартире, она

никогда больше не проведет спокойной ночи, без кошмаров и разговоров с призраком.

— Так нельзя, милая моя, — сказала ей дальняя родственница, разглядывая с видом эксперта темные круги под глазами Елены Ивановны. Вы себя изводите, а толку никакого нет. Так вот, милая, вы Николая Александровича из квартиры уберите. Между нами говоря, к вам и люди из-за этого перестали ходить: неуютно, знаете.

Должно быть, Елена Ивановна подсознательно только и ждала такого совета. Был это даже не совет, а нечто большее: моральное разрешение, ясное указание на то, что люди не осудят. Теперь оставалось только придумать, что делать с злополучной урной. Елена Ивановна вдруг вспомнила, что прах какого то американского миллионера, также преданного кремации, подняли на самолете и сверху рассыпали над его землями. Вспомнила она, как понравился тогда этот жест Николаю Александровичу: он что-то сказал о том, что «земля есть и в землю изыдеши», и что теперь американец навеки воссоединился с пейзажем, который он так любил при жизни, и частью которого он сам стал после смерти.

Это была блестящая идея — рассыпать прах мужа на лоне природы. Не даром Николай Александрович часто мечтал, что на старости лет они купят домик под Нью Иорком и при этом добавлял какую то фразу о Цинцинате, которую она, по незнанию латинского языка, не понимала. Было, конечно, препятствие: отсутствие самолета. Но самолет казался деталью, при-

хотью миллионера, — за такими трудно было тянуться простым русским эмигрантам. Всю эту церемонию можно было проделать иначе, гораздо скромней, но с таким же результатом, — например, развеять прах мужа из поезда, мчащегося посреди зеленых лугов и пастбищ.

И в ближайшее воскресенье Елена Ивановна взяла деревянную шкатулку, завернутую в бумагу, и отправилась на Пенсильванский вокзал. В каком направлении ехать было ей безразлично, но она вспомнила, что с Николаем Александровичем они несколько раз ездили на Лонг Бич. По дороге была зелень, маленькие сады, всё то, о чем мечтал бедный Коля. Она взяла билет и села в вагон, переполненный дачниками.

День был жаркий, все окна в вагоне настежь раскрыты. Елена Ивановна смотрела на пролетающие мимо убогие предместья Нью Иорка. Сначала были фабричные корпуса, потом пошли маленькие домики и подобия садов: клочек газона, два тощих деревца, куст чахлых роз и гортензии.

«Коля мечтал выращивать цветы», — думала Елена Ивановна. После станции Джамейки поезд пошел вдоль длинной аллеи тополей, за которыми открылся широкий луг и вдали какие то строения. Елена Ивановна не знала, что это скаковое поле, один из нью иоркских ипподромов. Она увидела только, что место зеленое, открытое, это было именно то, чего она хотела. Дрожащими руками развернула бумагу, открыла крышку ящика и зажмурилась: на дне лежал серовато-желтый пепел и какие то мелкие костяшки.

И, уже не глядя, она зачерпнула горсть праха и бросила его в окно. Ветер подхватил серо-желтую пыль и понес ее вдоль вагонов. Елена Ивановна широким жестом сеятельницы бросила еще горсть, и еще. И вдруг сзади, какой то человек, сидевший у окна, свирепо закричал на весь вагон:

— Что за чорт?! Чего вы бросаете в окна? Лэди, вы не видите, что всё летит обратно в вагон и засоряет людям глаза?

Елена Ивановна оглянулась, как затравленный зверь, и бросила еще одну горсть. Поезд начал слегка заворачивать, описывая широкую дугу, и бренные останки Николая Александровича, летевшие по воздуху, попадали во все раскрытые окна состава.

— Лэди, прекратите это безобразие! — уже угрожающе крикнул желчный пассажир. Никто не обязан закрывать окна в такую жару из-за вашей прихоти. Выбрасывайте ваш мусор дома, а не из окна вагона!

Елена Ивановна ничего не ответила. От ужаса она захлебнулась, да и английский ее язык был недостаточно хорош, чтобы объяснить, что речь шла не о мусоре, а о прахе бывшего присяжного поверенного и честного труженика на общественной ниве. На дне ящика оставалось еще несколько горстей, но негодующие крики уже слышались с разных сторон вагона. Люди вынимали платки и прикладывали их к засоренным глазам. И тогда последним, широким и отчаянным жестом, Елена Ивановна швырнула урну, которая покатилась под железнодорожный откос и

застряла у каких то кустов. Поезд шел, постепенно набирая ход, поля кончились, и в окнах снова замелькали маленькие дома и садики с клочками газона и гортензиями.

А Николай Александрович упокоился, наконец, в недрах Авраама, и стал навсегда частью пейзажа ипподрома Джамейки.

БАБАЛУ

My mother bore me in the Southern wild,
And I am black, but
o my soul is white!
— *Blake, "The little black boy".*

ЕЕ звали Бабалу, — сокращенно Бэб. Она была черная девочка с двумя туго заплетенными косичками, которые кончались зелеными бантиками.

Бабалу сидела на траве, около цветочной клумбы и при этом сама казалась каким то экзотическим цветком. Мать ее работала на кухне, целый день возилась у плиты, била посуду, а по ночам, уложив спать девочку, куда-то исчезала. Возвращалась она очень поздно, всегда в сопровождении очередного поклонника, и жильцы русского пансиона, в котором служила Эльмара, ожидали, что в результате этих ночных прогулок у Бабалу появится маленький брат или сестра, — так же случайно, как случайно появилась на свет и сама Бабалу.

О каждом новом романе Эльмары мы узнавали немедленно. Пища вдруг становилась несъедобной, Эльмара принималась бить посуду таким темпом, что на кухню было страшно войти, а хозяйка пансиона,

женщина нервная и впечатлительная, целыми днями ломала себе руки и повторяла:

— Здравствуйте! Сказка начинается сначала. Вчера ее провожал домой какой-то новый папуас.

И, почему-то, ни с того, ни с сего, добавляла:

— Бедная Бабалу... Несчастная малютка!

А малютка была очаровательная, — нос приплюснутый, пуговкой, глаза лукавые, рот наполнен множеством белых зубов. Успех она имела у жильцов пансиона огромный: все наперебой баловали Бабалу, покупали ей игрушки, сласти и яркие ленты для косичек. Бэб принимала эти подношения, смущенно опускала глаза и, на вопрос, сколько ей лет, шептала:

— Я еще не слишком взрослая. Шесть лет.

В пансионе жили другие дети — синеглазая Машенька и толстощекий Летька. Бабалу без всяких затруднений была принята в их компанию на равных началах. Я даже думаю, что Машенька и Летька вообще не обращали внимания на цвет лица своей подруги. Расовых предубеждений у детей нет, они появляются позже, когда дети превращаются во взрослых, начинают читать книги и доказывать друг другу, что люди рождаются равными... Наши дети играли вместе в саду, вместе ходили на пляж купаться, втроем сооружали из песка неприступные крепости, защищенные от морского прибоя искусственной системой глубоких парапетов и рвов.

Конечно, главным архитектором этих построек был Летька, — да это и нормально, так как ему шел

уже седьмой год, возраст совершенно достаточный для диктатора. Девченками он пользовался, как рабской силой: заставлял вычерпывать воду, набегавшую во рвы, заваливать пробоины в крепостных стенах, и при этом свирепо кричал хриплым, ломающимся голосом. Машенька не обращала на командира особого внимания, а Бабалу всё же немного пугалась и молча, по-негритянски, ворочала белками глаз. Посуду она еще не била, но мужскому авторитету уже подчинялась беспрекословно.

Весь день дети проводили вместе, но во время завтрака и обеда Машенька и Летька отправлялись в столовую, а Бэб тихонько шла на кухню. При виде дочки Эльмара широко улыбалась и низким, грудным голосом говорила:

— Где ты была, маленький дьяволенок? Сейчас мамми тебя накормит. Помой руки и садись за стол.

По субботам из города приезжали на дачу отцы, — усталые, измученные, но обязательно с подарками для детей. Машенька не торопилась вскрывать свои пакеты, — это была тихая, хорошо воспитанная девочка, а Летька набрасывался на коробки и свертки с пиратским видом, критически всё осматривал, прикидывал в уме, насколько это пригодится в его сложном хозяйстве, а потом солидно говорил отцу:

— Ты привез мне слишком много подарков. На следующей неделе ты опять привезешь мне слишком много подарков?

Так как отца у Бабалу не было, одаривали ее все жильцы пансиона. Но дети иногда спрашивали:

— А где твой папа?

— Он уехал, говорила Бэб. Он большой и сильный.

— Когда он приедет?

— Скоро. Он приедет и расскажет мне сказку.

Но папа всё не приезжал, и с некоторых пор мы начали замечать, что девочка скучает. Меньше играла с другими детьми, пряталась в каких то закоулках, застенчивость ее стала увеличиваться. Как раз в это время появился у нее новый друг, — тетя Женя, которая привязалась к девочке. Играла с ней в мяч, переплетала непокорные косички, или взяв крепко крошечную ладошку, начинала водить по ней пальцем и приговаривать:

— Сорока-ворона, кашку варила, деток накормила.. Этому дала, этому дала...

Говорила она по-русски, но хотя Бабалу ни слова не понимала, значение слов чувствовала необыкновенно, по интонациям, и в конце игры громко хохотала, протягивала руку и, осмелев, просила:

— Еще... Солока — Волона...

И всё приходилось начинать сначала. Когда тетя Женя говорила, что «этому бедненькому, маленькому, кашки не дала», — на лице Бабалу появлялся ужас, но секунду спустя она уже громко смеялась; дочь кухарки не могла всё-таки, поверить, чтобы мамми не накормила маленького.

Должно быть, и Женя полюбила ребенка. Сначала это была игра, — лето, скучно, делать нечего, а тут, под боком, зверек с забавной рожицей, и какой-то

особенный, отличающийся от всех детей не только цветом лица, но и своей внутренней печалью, одиночеством маленького существа, которое, вероятно, где то в душе уже знает, что папа никогда не приедет и сказки не расскажет. К слову сказать, сказки она очень любила. Усаживалась у ног Жени, поджимала ноги и просила:

— Расскажи про принцессу и про семь карликов.

— В некотором царстве, в некотором государстве, начинала Женя.

— В каком царстве? В Вирджинии?

— Почему в Вирджинии?

— Мама рассказывала про принцессу Пакахонтес. Она жила в Вирджинии.

— Ну, пусть будет в Вирджинии... Так вот, принцесса эта была необыкновенно красивая. Глаза синие-пресиние, как вода в море. Губы розовые, волосы золотистые до колен, а кожа — как молоко, и совсем прозрачная...

— Как молоко? разочарованно спрашивала Бабалу. Разве она не была черная? Все принцессы — черные.

И тетя Женя смущенно начинала выворачиваться. Конечно, черная, и очень-очень красивая. И семь карликов были черные, один чернее другого... Бабалу слушала, одобрительно кивала головой: она сама, своими глазами, видела черного карлика. Он живет неподалеку от них, на Ленокс Авеню и совсем не страшный: ножки короткие, а голова большая. Теперь тетя Женя превращалась в слушательницу и, постепенно,

перед ней раскрывался новый мир, в котором все рыцари, принцессы, колдуньи и гномы были чернокожими, — маленькая Бэб даже не представляла себе, что они могут быть другого цвета, чем она сама. И, конечно, Бог, которому она молилась по вечерам, перед тем, как лечь в постель, тоже был черный, но с большой седой бородой, какая бывает только у очень старых негров.

«Почему она так ощущает свою расу? думала Женя. Вот другие дети, Машенька или Летька, ведь не делают никакого различия между белыми и черными? Или это не так? Машенька так же нормально и естественно представляет себе своего Бога белым, как Бэб видит его негром. Вероятно, это от рождения, инстинкт гонимых народов»... И она думала о том, что хорошо было бы так воспитать эту девочку, чтобы она не чувствовала себя низшим существом, но она знала, что это — невозможно, и что этого никогда не будет. Через две недели каникулы кончатся, надо будет возвращаться в город, она расстанется с Бабалу и, конечно, больше никогда в жизни ее не увидит.

И вот прошли эти две недели. Накануне отъезда, когда Женя сидела в саду, к ней подошла Бэб, присела рядом, взяла руку и тихо, но очень отчетливо спросила:

— Ты хочешь быть моей тетей?

— Конечно, Бэб. Разве ты уже не называешь меня тетей?

— Да. Но я всех дам называю тетями. А ты — одна. Как мамми. Хочешь?

Женя притянула к себе девочку, поцеловала ее. Бабалу опустила голову, и из глаз ее закапали на траву большие, частые слезы. И она спросила:

— Разве белая может быть тетей черной девочки?

— Может, твердо ответила Женя.

— Я спрашивала. Мамми сказала — нет, не будь глупой. Мамми знает... Я бы так хотела, чтобы ты стала черной.

Она совсем расплакалась и убежала, со слепу спотыкаясь, захлебываясь своим большим, настоящим горем.

На следующий день Женя пошла проститься с Бабалу. В саду девочки не было и она заглянула на кухню. Эльмара стояла у плиты и, не поворачиваясь, сказала, что ребенка она отправила вчера в город, к своей приятельнице, — маленький дьяволенок раскапризничался, проплакал весь вечер. Всё равно, сезон кончается, больше ей здесь нечего делать.

— Да, конечно, сказала Женя.

Она постояла еще минуту, не зная, что добавить, и вышла из кухни, как то не сознавая, что произошло. И только несколько минут спустя, в саду, она заметила, что еще держит в руках коробку с прощальным подарком, приготовленным для маленького дьяволенка. Она хотела вернуться, сунуть коробку Эльмаре и сказать, что это — от тети, но почему-то не решилась, махнула рукой и пошла к себе в комнату, укладывать вещи.

ЗАВЕЩАНИЕ МИССИС КИНГС

В ресторане было накурено, шумно и тесно, но Володя и его приятель всё же получили свободный столик около эстрады с музыкантами. Знакомый мэтр д-отель принял заказ, — да, конечно, устрицы превосходные, первые в этом сезоне, только утром полученные из Бретани, и к ним бутылка замороженного Пуйи. От куропаток на канапэ Володя отказался, а попросил что-нибудь попроще — не очень прожареный шатобриан с салатом.

Мэтр д-отель почтительно склонил голову и почти конфиденциальным тоном сказал, что к шатобриану можно порекомендовать Помар 1947 года, который он держит специально для знатоков. Мосье будет доволен. Володя кивнул головой: Помар его совершенно устраивал.

Покончив с заказом он откинулся в кресле, закурил и, перебрасываясь с приятелем ленивыми фразами, начал рассматривать зал. Ресторан был ночной, с музыкой и танцами, публика довольно пестрая, какая всегда бывает в Париже в такого рода местах. Сначала всё тонуло в голубоватом тумане, но постепенно из тумана этого начали выступать отдельные лица, не-

много раскрасневшиеся от вина и еды. За соседним столиком сидел человек средних лет, по виду провинциал. Володя почему-то решил, что он лесоторговец из Ажена, и что со своей дамой, слишком молодой и слишком часто пудрившейся, он познакомился всего час назад, на террасе кафэ на плас Клиши; лесоторговец, видимо, приехал в Париж на несколько дней и решил насладиться жизнью. За другим столиком сидела компания шведов, — все они были рослые, белокурые, много ели и еще больше пили, и всё это молча, серьезно, сосредоточенно, — они тоже, по своему, наслаждались жизнью. И только отведя глаза от шведов Володя заметил, что совсем рядом с ними, но с другой стороны, сидели две молодые и, видимо, скучавшие женщины. Собственно, Володя обратил внимание только на одну из них, очень стройную, высокую, со светло пепельными волосами. Позже, когда Володя пригласил ее танцевать, он заметил, что у нее какой-то детский рот, полный белых, ровных и мелких зубов, и зубы свои она показывала весело и охотно. В ней было что-то очень приятное, успокаивающее — здоровое. Володя спросил, кто она — англичанка?

— Нет, американка, засмеялась молодая женщина. Из штата Небраски и, представьте себе, владелица ранча... — Зовут меня Мэрион Кингс.

Они перешли на английский. От далекого русского прошлого у Володи остались барские манеры и знание иностранных языков. Говорил он по-английски хорошо, но с легким грассирующим акцентом и, ведя

свою даму под звуки оркестра, стал рассказывать ей какую-то чепуху, которую обычно говорят мужчины, желающие быстро понравиться и произвести благоприятное впечатление. Володе было уже под сорок, он начал слегка полнеть, и в последнее время чувствовал, что так долго продолжаться не может, — давно пора завести семью. Но сегодня об этом думать не хотелось, — он еще очень дорожил теми радостями жизни, которыми пользуется в Париже свободный и материально независимый мужчина.

Когда танец кончился, он проводил Мэрион к ее столику, поблагодарил, и тотчас же пригласил на танго. Она согласилась просто и благодарно и пошла с ним в новом танце. Теперь свет в зале был притушен, горели только лампочки под шелковыми абажурами на столах, и два голубых луча прожекторов, спускавшиеся с потолка, скользили по фигурам танцующих. Они уже болтали, как два старых знакомых и, к концу танго, смеясь одними глазами, она спросила:

— А кто же вы такой? Я сразу назвала свое имя — Мэрион Кингс, из Небраски, Ю-Эс-Эй. Дополнительные сведения: рост 5 футов 8 дюймов, вес 130 фунтов. Совершеннолетняя. Была замужем два месяца и развелась. Моральная жестокость. Уехала в Европу, чтобы рассеять неприятное впечатление от семейной жизни. Я в Париже с подругой, но она скучает и решила вернуться домой через несколько дней. А вы?

Почему Володя не назвал ей своего настоящего имени? Может быть, сказалась старая привычка холостяка, — не давать своего имени и адреса случайно

встреченным женщинам. Может быть, ему просто захотелось пошутить или поразить воображение американки из Небраски. И вдруг, не задумываясь, он назвал имя приятеля, сидевшего с ним за одним столом.

— Князь Сергей Чачнадзе... Один из бесчисленных грузинских князей. Простите, но это не моя вина.

Мэрион Кингс всю жизнь мечтала познакомиться с настоящим князем. Это было так интересно! И когда танец кончился и они вернулись к столику, она уже с видом собственницы познакомила Володю с подругой:

— Князь Сергей... дальше идет имя, которое я не научилась произносить: таких букв нет в английском алфавите. Он прекрасно танцует, говорит по-английски с французским акцентом и обещал нам показать настоящий Париж.

Вышло, однако, так, что Володя начал показывать Париж одной Мэрион. Подруга готовилась к отъезду и была очень занята. Сергей Чачнадзе был устранен с самого начала, — Володя рассказал ему о шутке и князь обещал его не выдавать.

— В общем, сказал он Володе, ты создаешь опасный прецедент. Отныне все мои грехи я буду прикрывать твоим именем. Ты не думаешь, что перемена имени может привести к забавным ситуациям? Для чего, собственно, ты сделал это? Она не производит впечатления искательницы приключений и ты, по-моему, ничем не рисковал.

— Не знаю. Просто захотел пошутить. Почему не поразить воображения американки? У них там, в

Небраске, нет грузинских князей... Через две недели она уедет и всё будет забыто.

На следующий день они условились встретиться и он заехал за миссис Кингс в ее отель. Она жила в спокойной, немного старомодной гостинице на рю де Риволи, против Тюльери.

— Вы, парижане, говорила Мэрион, пересекая парк и направляясь в сторону Сены, не достаточно цените Париж. Это что-то такое, что принадлежит вам по праву и что является частью вашей повседневной жизни. Чтобы по настоящему любить и ценить Париж, нужно жить в другом городе, даже в другой стране, и только изредка приезжать сюда, — тогда этот удивительный город действует на вас, как вино.

Она была в светлом, легком костюме, в башмаках на низких каблуках и казалась из-за этого еще моложе, чем в ресторане, в вечер их случайного знакомства. И была в ней какая-то жажда жизни, которая поразила Володю, — она радовалась ярким осенним цветам на клумбах парка, шуршанью бронзовых листьев под ногами и особенной, сентябрьской синеве неба, по которому плыли белые барашки.

Они пересекли Тюльери и пошли по набережной Сены, вдоль каменного парапета, щурясь от солнечных бликов на тяжелой и уже по осеннему холодной речной воде. Прошел, пыхтя и задыхаясь от собственного дыма, пароходик, тянувший на буксире несколько барж. У темных каменных быков моста пароходик вдруг откинул назад трубу и минуту спустя, уже по ту сторону моста, снова раздалось его пыхтение и

снова повалил густой дым. День был будний, мало прохожих, и даже букинисты не все открыли свои ларьки. Миновав Лувр они вышли на набережную, где расположились магазины, торгующие цветами, рассадой для огородников и садоводов, и там же были клетки с воркующими голубями, с зелеными попугаями, желтыми канарейками, какими-то красногрудками, — веселый и певучий птичий мир. В ящиках с соломой возились розовоглазые кролики, а рядом стояли аквариумы, в которых плавали причудливые тропические рыбы, — перламутровые, светящиеся, полосатые зебры, рыбы-мечи и японские рыбки с пышными хвостами распущенными вуалью... Всё это было так красочно и так интересно, что Мэрион забыла усталость и всё время тянула Володю вперед, к ящикам-солариумам, в которых на песке дремали свернувшиеся клубком змеи и сидели застывшие, окаменелые хамелеоны.

Было уже поздно, когда они добрались до площади Шатлэ и сели на террасе кафэ. Мэрион захотела попробовать «Виши вэн-блан», — белое вино, слегка разбавленное минеральной водой, любимый напиток простого народа. Белое вино ей не понравилось, но Володя заказал кофе, которое подали не в чашках, а в стеклянных бокалах, как в простых бистро, и хотя кофе было горьковатое и плохое, Мэрион уверяла, что никогда не пила ничего более вкусного. Она съела две бриоши, вдруг почувствовала усталость и Володя подозвал такси и отвез ее в гостиницу.

В трясущемся старом такси, грозившем развалить-

ся на ходу, Володя на мгновенье задержал ее руку в своей. Мэрион посмотрела на него как-то очень просто и доверчиво и, как будто это заранее было условлено, сказала:

— До завтра. Пригласите меня завтракать в маленькое бистро. Знаете, в такое, где едят очень вкусно, но без скатертей, на мраморных столах. Хорошо?

И Володя завтракал с ней на следующий день в бистро у «Мамаши Коллэн», в квартале Центрального Рынка. Мамаша Коллэн была добродушной толстухой. Славилась она своей лионской кухней и тем, что всем клиентам говорила «ты» и сама безапелляционно решала, что они должны заказать. Гости безропотно ели всё, что она ставила на стол.

— Добрый день, влюбленные, сказала она, и Мэрион немного смутилась, когда Володя перевел ей приветствие хозяйки. Садитесь в углу, на скамейке. Вы пришли во время: у меня есть холодный омар с майонэзом и кролик, жареный с молодым луком, лардонами и картошкой... Я не знаю, любит ли твоя подруга козий сыр из Оверни, но я лично думаю, что в мире нет ничего лучше этого сыра, в особенности, если его запить стаканом розового Божолэ.

И они должны были отведать и омара, и кролика, есть сыр и пить холодное Божолэ из простых, коротконогих рюмок. Мамаша Коллэн снова называла их влюбленными, но Мэрион больше не смущалась, а весело смеялась и, глядя в бокал с прозрачным, розовым вином, смешно и трогательно говорила по-французски.

— Же суи амурэ...

— Амурэз, поправлял ее Володя.

И с этого дня всё смешалось, всё стало необычайно легким, небо более синим, цветы ярче и воздух совсем весенним. Целыми днями они бродили по Парижу, по старым улочкам Латинского Квартала, выходили к Нотр Дам или ко Дворцу Правосудия. Володя показывал башню, в которой судили Дантона и ту небольшую камеру, теперь превращенную в часовню, в которой по преданию была заключена Мария Антуанета, и где, в действительности, она никогда не сидела. Они часто бывали на Цветочном Рынке. Мэрион возвращалась домой с букетами астр и георгин, очень свежих, только что опрыснутых водой. Вся комната ее теперь была полна цветами и какими-то особенными чайными розами на длинных стеблях. Володя присылал их с бестолковыми, трогательными записками. Давно уже прошел срок, назначенный для отъезда в Америку, но Мэрион об этом совершенно не думала: иногда ей становилось страшно от внезапного, неизвестно откуда пришедшего счастья. И Володя всё это время был какой-то странный, совсем не похожий на ленивого, немного насмешливого человека, каким он сам себя считал. Прожив в Париже половину своей жизни он давно решил, что влюбляются только гимназисты, но как же следовало назвать чувство, которое он испытывал все эти дни, ощущение внезапной молодости и то особенное волнение, когда он шел к ней на свидания?

Было, однако, в их отношениях нечто, что сму-

щало и по временам отравляло настроение. Мэрион попрежнему называла его Сергеем, считала грузинским князем, и эта безобидная по началу мистификация постепенно превращалась в обман, который его тяготил и искажал их отношения. Несколько раз он хотел во всем признаться, всё объяснить, готовился к этому разговору, хотел превратить всё в шутку, но в последний момент вдруг пугался и останавливался на полуслове: кто знает, как она истолкует всё это, простит ли ему этот первый обман, легший в основу всех их отношений?

— Чепуха, сердился Володя, всё это нормально кончится через несколько дней или через несколько недель. Она уедет к себе в Небраску и сохранит воспоминание о грузинском князе, который был в нее влюблен, а не о мистификаторе, присвоившем чужое имя и чужой титул.

И всё это, действительно, кончилось через несколько недель, но совсем не так, как представлял себе Володя. Как-то вечером, когда он заехал к ней в гостиницу, чтобы увезти Мэрион обедать и потом в театр, портье сказал, что мадам чувствует себя плохо, не может спуститься вниз и просит приехать завтра днем.

Он позвонил по внутреннему телефону. Мэрион ответила, что очень сожалеет, — она так мечтала об этом вечере, но вдруг — боль в правом боку, ничего страшного, но очень сильная боль, и уже не в первый раз... Нет, спасибо, ей ничего не нужно, она вызвала доктора из американского госпиталя. Завтра?

Да, конечно, он может позвонить завтра, часов в одиннадцать утра... Спокойной ночи, Сережа, спокойной ночи!

На завтра в отеле сказали, что по приказу врача миссис Кингс ночью была перевезена в американский госпиталь, где можно получить все справки. Он вдруг заволновался, поехал сейчас же в госпиталь и по дороге остановился у цветочного магазина, чтобы купить чайные розы.

В пустынном холле госпиталя, за столиком, у которого принимали посетителей и давали справки, сидела сестра в белом халате и в белой, накрахмаленной косынке. Услышав имя миссис Кингс она немного смутилась и спросила, кто он, — родственник, или друг семьи?

— Друг семьи, как-то неопределенно ответил Володя. Я хочу знать, как чувствует себя миссис Кингс и когда ее можно видеть?

— Я сейчас справлюсь у доктора, ответила сестра, еще раз бегло взглянув на посетителя и, бесшумно ступая по мраморному, натертому до блеска полу, вышла из холла.

Она долго не возвращалась. Володя вдруг поймал себя на том, что он волнуется и сердится: какая плохая организация, нельзя получить сразу справку о состоянии больной!.. Что, собственно, с ней случилось? Кажется, она говорила, что была серьезно больна после развода. Или это было раньше, еще до замужества? И он старался припомнить, когда это было, и на что именно она тогда жаловалась, но в это

время сестра вошла в холл, и за ней, тяжело ступая, шел пожилой человек, вероятно врач, тоже в белом халате, с очень утомленным лицом. Он остановился в двух шагах, посмотрел на Володю поверх очков, протянул руку и сказал, что его зовут Джон Брайэн, он доктор, и он оперировал вместе с двумя другими врачами прошлой ночью миссис Кингс. Володя пожал его руку и тоже назвал себя, — нужно было продолжать лгать даже здесь, — князь Сергей Чачнадзе.

— Вы — друг миссис Кингс? осторожно спросил доктор Брайэн.

— Да, мы друзья.

И вдруг, сам не зная почему, но очень просто и естественно, Володя сказал:

— Собственно, даже больше. Я — жених миссис Кингс.

Доктор Браэйн совсем смутился, помолчал секунду и медленно заговорил:

— Видите ли, операция, сама по себе, хотя и была срочной, так как мы опасались перитонита, опасности для жизни не представляла... К несчастью, у миссис Кингс еще с детства была болезнь сердца в довольно тяжелой форме. Разве она вам об этом не говорила?

— Да, кажется, что-то говорила, каким то тупым и чужим голосом ответил Володя.

— И во время операции сердце не выдержало.

— Сердце не выдержало? всё еще не понимая повторил Володя. То есть как же это?

Доктор Брайэн взял его под руку, подвел к дива-

ну и, тяжело опустившись на кожаное сиденье, заставил Володю сесть рядом с собой. Потом он закурил и предложил Володе папиросу. После долгого молчания доктор сказал:

— Ваша невеста умерла во время операции... И мы были бессильны ей помочь.

Позже Володя никак не мог вспомнить сколько времени он провел на кожаном диванчике в холле американского госпиталя. Врач что-то объяснял ему, но что именно — Володя не мог сообразить. На прощанье, когда Володя уже направлялся к выходу, доктор его догнал, взял розы, которые Володя всё еще держал в руке и сказал, что он понесет их в комнату миссис Кингс, — если князь Чачнадзе против этого не возражает?

Он не возражал и вышел на улицу.



Недели три спустя князь Сергей Чачнадзе получил по почте заказное письмо, — толстый продолговатый конверт из американского консульства в Париже. Сергей Чачнадзе перечел письмо несколько раз, прежде чем понял, о чем идет речь и вспомнил случайный вечер в ресторане и знакомство с американкой, имя которой он тогда же забыл.

Консул сообщал, что скончавшаяся недавно в Париже во время хирургической операции миссис Мэрион Кингс оставила всё свое состояние князю Сергею Чачнадзе «в знак своей глубокой любви к нему

и дружбы». Завещание было составлено миссис Кингс за несколько часов до операции.

Свидетельствуя свое почтение князю Сергею Чачнадзе, консул просил его заехать в удобный день для выполнения необходимых формальностей по введению в права наследства.

ГОСПОДИН БАНДИТ

ПЕТЬКА был уже старый. Когда взрослые, не умеющие разговаривать с детьми, слащаво сюсюкая спрашивали: «Петинька, а сколько тебе лет?», он солидно надувал щеки и деловито отвечал:

— Пять лет. Давным давно было.

Пять лет ему исполнилось всего месяц назад, но Петька был убежден, что оставшиеся до дня рождения одиннадцать месяцев пройдут незаметно. Не успеешь оглянуться, — стукнет шесть. Возраст нешуточный. И, поэтому, Петька старался держать себя солидно: палец сосал только в крайних случаях, в минуты душевного одиночества, главным образом перед сном, на малышей смотрел со снисходительным презрением, избегая с ними компрометирующего контакта, и уже серьезно начинал задумываться над своим будущим: он колебался между профессией пожарного и бейсболиста.

Петька рос, как все дети в Америке. Родители были убеждены, что воспитывают сына в должном духе: заставляли дома говорить по-русски, рассказывали ему сказки про Бабу-Ягу и про какого-то серенького козлика, жившего у бабушки. Петька слушал снисходительно, но никак не мог понять, почему

Баба Яга летает в какой то ступе, когда существуют ракетные самолеты, и почему Змей Горыныч разгуливает на свободе, вместо того, чтобы сидеть в клетке в Зоологическом саду Бронкса? Родители, впрочем, быстро истощили свой запас русских сказок и убедились, что Конек-Горбунок окончательно отжил свой век, — при выборе способа передвижений Петька явно отдавал предпочтение автомобилю перед всевозможными коврами-самолетами.

В конце-концов, мальчика предоставили собственной судьбе. Пробелы своего воспитания он начал успешно заполнять из программ телевидения и книжонок «Комикс», один внешний вид которых, почему то, вызывал у папы припадки внезапного бешенства. В первый раз, когда Петька, лежа на ковре, захлебывался от восторга, зачитываясь приключениями «Одинокого Всадника», папа конфисковал книжку и заявил, что в его доме для подобной дребедени места нет. Петька горько заплакал, мама начала целовать обиженного ребенка, и потом между родителями происходило бурное объяснение, в котором Петька понял далеко не всё, а, так сказать, лишь основные тенденции сторон. Папа кричал, что он не хочет вырастить дегенерата и бейсболиста, а мама ехидно спрашивала про какого-то Ник Картера, которым папа сам в детстве увлекался. С этого дня «Одинокий Всадник» перешел на конспиративное положение. Петька прятал свою нелегальную литературу на дне ящика с игрушками и извлекал ее на свет Божий только убедившись, что поблизости нет тайных и явных врагов.

Гэнгстеров он не любил и в глубине души порядком побаивался. Одинокий Всадник и другие герои его жизни — Дик Трэйси и Хапалонг Кассиди всю жизнь боролись с бандитами. Они легко пускали в ход оружие, но всегда в целях самообороны или для защиты слабых и угнетенных. Если бы Петька знал о существовании Дон Кихота Ламанческого, он понял бы, что все его герои были лишь слабым подражанием и бездарным современным вариантом Рыцаря Печального Образа. Но о Дон Кихоте Петька пока еще ничего не знал. Телевидение же имело своих, новых героев, боровшихся не с ветряными мельницами, а с бандитами в ущельях Сьерры. Из дани уважения к Хапалонгу Петька на собственные сбережения купил полдюжины разнокалиберных пистолетов и один из них постоянно носил при себе: бандиты из Сьерры могли устроить засаду на углу его улицы или по дороге в Центральный Парк.

Не расставался с оружием Петька даже когда его укладывали спать. Засыпая, он нащупывал пистолет, положенный на всякий случай под подушку. Правда, кто нибудь из взрослых всегда оставался в квартире, но Петька знал, что в случае нападения бандитов он мог рассчитывать только на свои собственные силы.

***

Есть в Америке замечательная профессия «Бэбиситеров» — не знаю, как лучше назвать ее по-русски. Родители, уходящие вечером в театр или в гости,

не могут оставить детей без присмотра. Тут на сцену является «Бэби-ситер», готовый пожертвовать своим отдыхом и душевным покоем во имя грубых финансовых интересов.

Профессиональный «Бэби-ситер» не довольствуется простым денежным вознаграждением. Он требует внимания и специального за собой ухода. Он считает себя жертвой социального строя, при котором родители развлекаются и пользуются всеми радостями жизни, в то время, как «ситеры» сторожат сон юного поколения. «Ситер» обставляет свою работу максимальными удобствами: он хочет весь вечер смотреть телевидение, ему нужно оставить на столе фрукты, сандвичи и бутылку «Кока-Кола».

Раза два в месяц родители Петьки пользовались услугами такой «Бэби-ситерши», дочери соседки, готовившейся к выпускным экзаменам. За три доллара Сузи соглашалась провести вечер в обществе неукротимого Петьки, который, как на зло, никогда не хотел в такие вечера заснуть. Петька вдруг предлагал Сузи устроить чемпионат бокса, или футбольный матч в спальне. Чтобы занять юного арестанта Сузи давала ему в руки цветные карандаши, лист бумаги, и просила:

— Питер, нарисуй мне на память картинку.

Петька немедленно попадался на эту женскую хитрость, принимался за работу и успокаивался. Рисовал он всегда одно и то же: пароходик на бурном море или горящий домик, — в нем жила душа поджигателя. Изредка он менял сюжет и, помучившись

минуту, протягивал Сузи свое новое художественное произведение: поезд, над ним какое то крылатое существо и под крыльями — жирная точка.

— Что это, Питер?

— Это ангел летит над поездом, снисходительно объяснял Петька. А у ангела посередине пупок.

В конце-концов, путем сложных маневров, Петьку удавалось завлечь в постель, где он немедленно засыпал, а Сузи принималась за сандвичи и «Кока-Колу». Всё шло прекрасно до того вечера, пока Сузи оказалась занята неотложным делом и не смогла заменить родителей Петьки, приглашенных на обед к Семенчиковым. Днем, когда Сузи возвращалась домой из школы, к ней подошел восьмиклассник Джо и пригласил вечером пойти в синема. Короткое мгновенье в душе Сузи происходила борьба между чувством долга и открывавшейся возможностью сыграть роль роковой женщины. Но Джо смотрел умоляющими глазами и Сузи сказала, что хотя ей нужно готовиться к экзаменам, — она, может быть, придет.

— В 8 часов, на углу, около газетного киоска? — спросил Джо.

Сузи кивнула головой и Петька остался без «Бэбиситера». На этом мы расстаемся с Сузи, которая играет в рассказе роль эпизодическую и, к сожалению, так никогда и не узнаем, чем закончилось ее свидание с Джо.

Важно то, что пока Сузи готовилась к встрече со своим Дон Жуаном и обдумывала, как бы лучше посадить его на свое место, у родителей Петьки воз-

никло неожиданное осложнение. Отказаться от приглашения к Семенчиковым в последнюю минуту не было никакой возможности. Но после нескольких отчаянных телефонных звонков мать убедилась, что достать другого «ситера» она не может.

— Что же делать, — вздохнула мать. Придется позвонить им и объяснить, в чем дело. Ты пойдешь один.

— Ни за что, возмутился муж. Ты знаешь, как я люблю ходить в гости без тебя. Просидеть весь вечер с этими дураками Семенчиковыми, — благодарю покорно!

— Тогда мы оба останемся дома. Тоже не плохо.

Перспектива тихого семейного вечера, видимо, папу не увлекала. Подумав минуту, он сказал:

— А почему, собственно, Петьку нельзя оставить дома одного? Что с ним может случиться? В его годы я никаких «ситеров» не знал и жил самостоятельной жизнью.

Предложение это сначала вызвало у матери взрыв негодования. Но по мере того, как стрелка приближалась к семи и она представляла себе оскорбленное лицо Семенчиковой, приготовившей обед, сопротивление начинало таять.

— А если случится пожар?

— Мы предупредим соседку.

— А если воры?

— Надо сказать Петьке, чтобы он никому, никому решительно, не открывал дверь. И конец.

Нужно было подготовить Петьку к тому, что он

проведет вечер в полном одиночестве, без «ситера». В ход будет пущена лесть, — совсем один, как взрослый человек, и грубый подкуп: двойная порция мороженого и обещание повести его в воскресенье кататься на карусели. Поломавшись немного и выдвинув дополнительное требование о покупке ему «Новых похождений Сюпермэна», Петька милостиво согласился остаться дома без личной охраны.

— Петинька, только смотри: никому не открывай дверь, даже знакомым людям. Кто бы ни звонил, что бы тебе ни говорили — не открывай. Мы скоро вернемся. А пока, садись скорей обедать: я тебе приготовила твои любимые русские котлеты...

— Это холосо, солидно сказал Петька. Я люблю мясо без костев.

***

Когда двери за родителями закрылись и Петька остался один в большой квартире, его охватило неприятное чувство. Книжки с его любимыми героями и фильмы из жизни ковбоев Дальнего Запада научили Петьку, что мир полон опасных людей, встреча с которыми не сулит ничего доброго.

Встав с постели, Петька прошлепал босыми ногами к шкафу и извлек из заветного ящика два запасных пистолета и уже порядком зачитанную книжку о Тарзане. Один эпизод, больше всего волновавший Петьку, описывал встречу Тарзана со львом. «Лев огласил лес своим страшным ревом и ринулся на Тарзана, который могучими руками схватил короля

лесов и свалил его на землю». На следующей картинке лев уже лежал связанный и совершенно беспомощный, а Тарзан горделиво попирал его ногой... Несмотря на решительную победу Тарзана, было всё же немного страшно.

В эту минуту, когда Петька хотел перевернуть страницу и приняться за следующий эпизод встречи Тарзана с племенем пигмеев-людоедов, у дверей раздался звонок. Петька замер и взял в руки пистолет. В эту минуту он казался самому себе и Одиноким Всадником, и Диком Трэйси, и Хапалонгом Кассиди. Опасность приближалась. Нужно было приготовиться отразить ее.

Звонок задребезжал вторично. Петька мысленно повторил инструкцию родителей — никому не открывать дверей и проследовал в переднюю. Бандиты Сиэрры стояли по ту сторону, на лестнице и, видимо, только и ждали, чтобы ворваться в дом и предать его огню и разграблению.

— Кто там? — спросил Хапалонг дрожащим голоском.

— Петька, открой, — ответил знакомый голос. Это дядя Коля!

Наступило молчание. Петька любил дядю Колю, жившего далеко, в каком то другом городе и изредка наезжавшего в Нью Иорк. Дядя Коля всегда привозил Петьке подарки, — бейсбольные мячи, которым мог бы позавидовать покойный Бэйб Рут, модели подводных лодок и блестящие каски пожарных. Вероятно, и на этот раз он привез что нибудь полезное для петь-

киного хозяйства. С приездом его жизнь в доме на некоторое время принимала приятный характер. Рушились установленные правила: дядя Коля спал на диване, в гостиной, внося в комнату живописный беспорядок, водил Петьку гулять, закармливая его мороженым, и хотя мама тайком вздыхала и, закатывая глаза, шопотом спрашивала папу: «Когда всё это кончится?», — дядя Коля безусловно вносил в дом нездоровую праздничную атмосферу.

— Открывай, Петька, — торопил за дверью дядя Коля. Ты что же, мерзавец, один дома? Где родители?

— Папа и мама ушли в гости, с ледяной вежливостью ответил Петька, игнорируя слово «мерзавец». И они не велели мне никому открывать двери.

— Ну, мне то ты можешь открыть. Я, можно сказать, твой единоутробный дядька. В некотором роде член семьи и ты мой единственный наследник. Как ты себя чувствуешь?

— Очень лучше, — ответил Петька.

Снова наступило молчание. Стороны, так сказать, присматривались друг к другу и готовились к бою. Петька сопел и с тоской думал о подарке, который ему привез дядя Коля. Вероятно, это заводной автомобиль. Или аэроплан, летающий по комнате с настоящим пропеллером... Подарок можно было получить, открыв дверь. Но чувство долга победило: раз сказано не открывать, значит нельзя.

Дядя за дверью начал терять терпение.

— Петька, немедленно открой! Я устал с дороги и хочу спать. Что за вздор?

Петька сопел еще громче. Дверь не открывалась.

— Вот подожди, я тебя выпорю, пообещал дядя Коля.

И тогда Петька решил перейти в контр-наступление.

— Господин бандит, — сказал он дрожащим голосом. Уходите. Здесь живет большой лев.

— Открывай! Я тебе покажу господина бандита, паршивец!

— Господин бандит: лев очень сердитый. Он может вас укусить.

На этот раз дядя Коля не нашелся, что сказать. Прошла еще минута, и за дверью быстро затопали детские босые ножки. Петька ушел в спальню, отбив нападение бандитов.

Когда около полуночи родители вернулись домой, они нашли дядю Колю на лестнице. Вид у него, действительно, был бандитский; галстух развязан, рубаха смята, и он спал, опустив голову на чемодан. В квартире Петька тоже спал — безмятежным сном человека, выполнившего свой тяжелый, но необходимый долг. На кровати, около подушки, лежал большой ковбойский пистолет с поднятым курком.

СЛУЧАЙ С ПУШКОЙ

ПРОЗВАЛИ его Пушкой, за рыжую шерсть, блестящие глаза и живость характера.

Щенка принесли в дом совсем маленьким, неуклюжим, смешным. Но он быстро освоился: похлебал молока с блюдечка, от нечего делать погрыз ножку кресла, а затем устало лег на брюхо, вытянул вперед морду и о чем-то задумался.

— Как же мы его назовем? — спросила Лебедева. Нужно что-нибудь очень русское. Полкан?

— Полкану полагается быть большим дворнягой, — возразил муж. — Если хочешь русское, так нет для собаки лучшей клички, чем Кабыздох.

— Какая гадость! Ты бы еще привязал ему к хвосту железный чайник и пустил в таком виде по городу. Так делали провинциальные купчики скуки ради. Нет, не назвать же его по-американски — «Смоки» или «Рэд»? Посмотри, какая морда: рыжий, лохматый, глаза живые и, уверяю тебя, есть в его наружности что-то интеллигентное.

— Может быть, стихи пишет? Пушкин?

— Пушкин не Пушкин, а вот Пушка — чудесное имя!

Услышав свое имя, Пушка не торопясь, с достоинством, поднялся, подошел к хозяйке и дружески куснул ее за палец. Так было найдено имя, и оно за щенком осталось. Жили герои этого рассказа на ферме, далеко за городом. Русских вокруг не было, а соседям-американцам, которые подарили щенка, объяснили, что Пушка — имя русское. Американцы решили, что имя звучное и удобное для произношения.

***

Пушка рос крепышом и постепенно стал проявлять некоторые особенности своего характера. Летом начал он подолгу исчезать с фермы, — гонял белок и зайчат в лесу, при чем с этих охот возвращался измученный, в репейниках, совершенно осипший от лая. Он ложился в тени амбара, высунув розовый язык, тяжело дышал и имел виноватый вид.

— Пушка наш опять неудачно охотился, — говорила Лебедева, подставляя ему чашку с водой. — Зайчата — в кусты, белка — на дерево, а Пушка — в дураках. Попрыгал, полаял, выбился из сил, и вернулся домой не солоно хлебавши.

Вскоре, однако, начали выясняться и жуликоватые проделки Пушки.

У соседа-фермера стали пропадать цыплята. Сначала думали, что это — лиса, которая жила в лесу за оврагом и иногда, по ночам, заглядывала на ферму. Около курятника поставили капканы. Но цыплята продолжали пропадать до тех пор, пока однажды на

тюфячке Пушки не обнаружили перья и пух. Пушка в этот день был бит нещадно, посажен под домашний арест и, видимо, отлично понял, что всемогущая рука Правосудия всегда настигает и карает преступника. Предупрежденный фермер со своей стороны принял нужные меры и охота на цыплят с этого дня прекратилась.

А в общем, это были естественные увлечения и ошибки молодости, которые должны были пройти с годами. Пушка оказался отличным псом, — сообразительным, приветливым, любителем хорошей пищи и женского пола. Иногда, в погоне за местными красавицами, он исчезал на целые дни и, как с охоты, возвращался домой грустный и усталый.

— Что, Пушка, сочувствовал Лебедев, не вышло дело? Кто она, губительница твоей души? «Лаки» или «Бонни»? Если «Лаки» то, по моему, ты имеешь некоторые шансы на успех. Это — особа средних лет, неразборчивая и довольно легкомысленная. А вот с «Бонькой» будет трудно: красавица, гордая и, пожалуй, искусает тебя, беднягу. Да и конкуренция большая, — чуть ли не все женихи в уезде вокруг нее увиваются.

Пушка слушал, повизгивал и лизал хозяину руку, — благодарил за чуткое отношение. В это лето Пушка вырос, стал крупным, сильным псом, рыжая его шерсть слегка потемнела и начала лосниться. Жил он жизнью привольной и довольно беспечной, как всегда живут деревенские собаки, не знающие унижений, которым подвергаются их городские собратья: ошей-

ников, пятиминутных прогулок по тротуару, на ремешке, одиноких и тоскливых часов в пустой, запертой квартире.

Хозяин постепенно учил его некоторым вещам, которые должна знать каждая порядочная и воспитанная собака. Пушка протягивал гостям лапу, за кусок сахару готов был три раза перекрутиться вокруг самого себя, а на вопрос, любит ли он папу и маму, громко и восторженно лаял. После этого лая сомнений быть не могло: Пушка любил пылко и самоотверженно.

Обнаружились у Пушки и некоторые лингвистические способности: он одинаково хорошо понимал по-русски и по-английски, но явное предпочтение отдавал языку русскому, на котором с ним говорили дома. Лебедева пробовала научить его даже пению, но дальше гамм дело не пошло. Под аккомпанимент рояля Пушка пел всю гамму, вернее тонко выл, постепенно повышая тон, и при этом томно склонял голову на бок. Слух у него был абсолютный, но до самой простой мелодии Пушка так и не дошел. Может быть, он не любил пения или побаивался, что из него захотят сделать профессионального певца.

Одним словом — жил Пушка полной собачьей жизнью. Были у него свои радости и горести, успехи и неудачи. Прошла бы его жизнь спокойно, в полном довольстве, если бы на третий год не случилось событие, которое навсегда вошло в семейную хронику Лебедевых и вызвало в свое время некоторую сенсацию.

В жаркий летний день Лебедевы поехали с утра в соседний городок за покупками. Пушка был оставлен сторожить дом и, несмотря на ответственность данного ему поручения, усмотрел в этом некоторую несправедливость: пес очень любил кататься в автомобиле и всегда ездил, выставив из окна морду, навстречу ветру. Он визжал, плакал, пытался прыгнуть в машину, но на него прикрикнули и, в конце концов, оскорбленный в своих лучших чувствах, он отошел в сторону и лег на террасе, делая вид, что ни хозяева, ни их машина его больше не интересуют: каждый живет своей собственной жизнью.

Лебедевы уехали. Пушка полежал некоторое время на террасе, пытаясь цапнуть зубами беспокоивших его мух, а затем лениво поднялся и, ткнув мордой незапертую дверь, вошел в кухню.



В кухне его и нашли хозяева три часа спустя, когда они вернулись из города.

Пушка лежал на полу, глядя перед собой стеклянными, остановившимися глазами. При виде Лебедевых он пытался встать, поднялся было со своей старой рогожки, но тут лапы его не выдержали, подкосились и бедняга со стоном упал на бок. Судорога начала проходить по всему его телу. Это было так неожиданно и страшно, что Лебедева закричала, бросилась к псу и начала его целовать:

— Что с тобой, Пушка? Что с тобой, милый?

Пушка смотрел на хозяйку всё тем же стеклянным, ничего не понимающим взглядом. Нос его был горячий, дыхание неровное, какое-то порывистое. Слабо шевельнув хвостом, он снова пытался подняться со своего ложа и снова грохнулся на пол, — ноги его не держали.

— Он умирает! Пушка наш умирает! закричала Лебедева. Нужно что-то сделать, спасти его... Сережа, беги за соседом, позвони ветеринару... Господи, что же ты стоишь?..

Пришел сосед, посмотрел издали на больного пса, сдвинул на затылок свою соломенную шляпу и сказал, что дело, кажется, дрянь. В прошлом году был такой случай на деревне у Аткинсонов, — тех самых, у которых недавно женился сын... Так вот, была у них отличная собака, сторож и всё, а по глупости съела в поле какую-то падаль, помучилась день-другой и околела.

— Пушка не ест падали, с негодованием ответила Лебедева.

— А вы почем знаете? Ну, если не падаль, то кусок сыра с крысиным ядом, или что-нибудь в этом роде. Вы тут ничем не поможете, — раз у собаки глаза уже стали стеклянные. Жаль только, что мучается зря. Я на месте мистера Лебедева вывел бы Пушку во двор и пристрелил бы, — всё равно, один конец, а так скорее.

Будь у Лебедевой в эту минуту под рукой револьвер, она скорей пристрелила бы соседа, чем Пушку. А бедный пес дышал всё тяжелее и порывистее. С

каждой минутой ему становилось хуже. Теперь по телу проходила непрерывная судорога и он жалобно стонал. Из раскрытой пасти вывалился наружу язык, с которого стекала белая пена. Когда началась рвота, Лебедев не выдержал, схватил собаку на руки и бросился к машине.

— Куда ты, Сережа?

— В город, конечно. К ветеринару. Не дадим же мы собаке мучиться, сказал он, не глядя на жену. Там и лекарства есть, и клиника для животных.

— Я с тобой поеду, решила Лебедева.

Пушку удобно устроили на заднем сиденьи и помчались на машине в город. На этот раз бедняга не высовывал свою морду наружу, навстречу ветру, и даже не пытался приподняться.

К ветеринару его внесли со всеми предосторожностями, как больного ребенка.

— Вот, доктор, наш пес. Зовут его Пушка. Мы не знаем, что с ним случилось. Три часа тому назад он был совершенно здоров. Может быть — отравление, или полио? Мы не знаем бывает ли полио у собак, но налицо — все признаки. Смотрите: он на ногах не стоит, нос горячий, и какое дыхание!

Неизвестно, понял ли больной, что говорил его хозяин ветеринару, но в этот момент он собрал последние силы, встал на лапы, сделал, покачиваясь, два-три неровных шага, и тут же грохнулся на пол. Лег сначала на живот, потом повернулся на бок и начал судорожно водить задней лапой.

— Кончается! всхлипнула Лебедева.

Ветеринар надел очки, взял в руки стетоскоп и, приложив его к груди пса, выслушал сердце.

— Сердце работает, конечно, с перебоями и слишком ускоренно, но... погодите минуту...

Ветеринар вдруг нагнулся, приблизил нос к Пушке и быстро от него отпрянул.

— Послушайте, почему от вашей собаки так разит спиртом? Понюхайте сами.

Лебедевы понюхали. Из пасти Пушки, действительно, разило алкоголем, при чем запах показался Лебедевой довольно знакомым.

Ветеринар попытался еще раз поставить Пушку на ноги, и весело сказал:

— Ваша собачка интоксикирована алкоголем. Выражаясь повседневным языком, она попросту смертельно пьяна.

— Пушка пьян? — изумились Лебедевы. — Да разве собаки пьют?

— А как же? Четвероногие, в общем, обладают почти всеми человеческими пороками. Любят они и выпить. Мне однажды пришлось иметь дело с пьяной обезьяной. Так она до того нализалась, что перебила в доме всю посуду и, в конце концов, ее пришлось связать по рукам и по ногам.

— Каким же образом Пушка мог напиться? Пушка, ты что, — действительно — выпил малость?!

Пушка в ответ завизжал и махнул хвостом, а затем снова завалился на бок.

Ветеринар дал выпить пропойце лекарство, после которого Пушка немедленно успокоился и заснул.

Спал он почти сутки и когда пришел в себя, жадно набросился на воду, — его мучила жажда. Видимо, он очень страдал с похмелья и всё еще некрепко держался на ногах. В этот день Пушка забился в угол, избегал хозяев и был мрачен.

Только позже, войдя в кладовую, где хранились различные припасы, Лебедева нашла на полу разбитую бутылку крепкой домашней вишневки. Содержимое бутылки, разлившееся по полу, и вылакал дочиста Пушка. Бутылка стояла на полке и упасть без посторонней помощи никак не могла. Лебедевы так никогда и не узнали, сбросил ли Пушка бутылку случайно, прыгнув на полку, или потому, что после отъезда хозяев в город ему с горя захотелось выпить?

Во всяком случае, после описанного случая, Пушка быстро поправился и, очевидно, дал зарок не пить: в кладовую никогда не заглядывал, а когда хозяин, шутки ради, подносил к его носу рюмку со спиртным, громко чихал, поджимал хвост и с виноватым видом отходил в сторону.

КРЫМСКИЕ РАССКАЗЫ

КАРАДАГ

ПОДЪЕМ на Карадаг начали мы под вечер и шли не торопясь: хотели добраться до могилы святого, похороненного в древние времена на вершине горы, и там встретить восход солнца.

С моря Карадаг кажется суровым, неприступным. Отвесно поднимаются из воды темные, вулканического происхождения скалы, о которые глухо и равномерно разбивается прибой и клочьями белой пены ложится у входа в Разбойничью Пещеру. Но со стороны Коктебеля подъем сравнительно легкий, по горным тропинкам. Над обрывами растет что то сухое и корявое, куриная слепота да пыльный репейник, медленно умирающий от невыносимого зноя. Но чем выше, тем меньше камней и вулканического пепла «пуццоланы» и больше зелени. На смену известковым плешинам и желтой ковыли идут пастбища, потом кизильник, а дальше начинается лиственный и хвойный лес, до самой вершины.

На закате мы сделали первый привал и устроились под соснами, каким то чудом выросшими в расщелине скал. Жара уже спала, из леса тянуло предвечерней прохладой, и тени тополей начали непомерно удли-

няться. С Карадага была видна вся лазурная коктебельская бухта, на поверхности которой морские течения и ветер прокладывали темные дорожки. Море из-за этого казалось разноцветным, и только где-то далеко, на горизонте, оно сливалось с небом в одну серо-молочную пелену. Белые домики внизу были совсем игрушечные. В окнах башни Максимилиана Волошина, на самом берегу, медленно догорало солнце.

— Всё здесь голое, унылое, выжженное, одни солончаки да лысые горы, сказал мой спутник. А как перевалим по ту сторону Карадага, начнется уже южный берег Крыма. Там лежат зеленые отузские виноградники, бесконечные татарские баштаны и фруктовые сады, «роскошная судацкая долина», о которой писал Грибоедов... Вот побываем у могилы святого, а потом спустимся в эту долину и пойдем берегом в Судак, древний Сурож. Есть там скала Кыз Куле, а на ней — развалины генуэзской крепости, с которой связана какая-то легенда о девушке, бросившейся со скалы в воду. Кто она была, эта девушка? Не то татарка, которую сбросили по приказу богатого мурзы за неверность, не то русская невольница, привезенная для продажи на салдайский рынок и которая загубила себя от тоски.

Мы молчали, пили холодную воду из фляг, обшитых солдатским сукном, и, должно быть, каждый думал о судьбе девушки, разбившейся на смерть на скалах Кыз Куле. А тем временем, внезапно, совсем неожиданно, наступила южная, теплая ночь. Замерцали

огни в Коктебеле, а потом и на вершине Карадага как то особенно ярко загорелись костры.

— Кто то нас опередил, сказал я.

— Это татары раскладывают костры вокруг могилы своего святого. Всю ночь будут молиться, думать о святости, ответил мой спутник, отлично знавший эту часть Крыма.

И мы снова двинулись в путь по горной тропинке, опираясь на палки с железными наконечниками. Ночью идти было легче, бодрил горный воздух. Над головами низко и испуганно метались, описывая широкие круги, летучие мыши.

***

Луна встала над морем большая, красная, какая-то неправдоподобная. Такую луну позже видел я только под тропиками. Но постепенно начала она уменьшаться и менять цвет, из медной стала желто-золотистой, потом поднялась еще выше, и всё вокруг стало белым, каким-то призрачным, а по воде, от луны до самого берега, протянулся дрожащий серебряный мост. Еще громче застрекотали цикады. Сплюшка в лесу начала выводить свое монотонное:

— Сплю... Сплю...

А какая то другая ночная птица дразнила ее вопросом:

— Ну, и что же?.. Ну, и что же?

Подъем продолжался уже несколько часов и мы начали чувствовать усталость. Стучало в висках, ды-

хание стало частым и неровным. Но вот послышалось журчание воды, тропинка свернула куда-то вбок, вдоль скал, и вдруг из темноты с хриплым лаем набросились на нас злые, лохматые и хриплые овчарки.

— Кым бар онда? Кто это там? спросил чабан, пригнавший свою отару к источнику на водопой.

Мы отогнали палками собак и, как требовал обычай, вежливо сказали:

— Акшамас хайрысен, чобарджи! Добрый вечер, господин!

Чабан, вышедший на дорогу, с удивлением на нас оглянулся: одеты мы были, как экскурсанты, а заговорили по-татарски. Значит, были свои люди, крымчаки.

— Акшамас хайрысен, уже совсем другим тоном ответил он, и тут же свирепо прикрикнул на собак, которые сразу присмирели, высунули языки и улеглись у его ног с сознанием выполненного долга, — теперь, дескать, поступай, как знаешь.

— Можно воды напиться? спросили мы по-русски.

— Бери воду, сказал чабан. Такой воды нигде нет, горный вода. В Керчь в бутылках можешь возить, — руп наторгуешь, два прохарчуешь, мало-мало барыш есть!

Нет в мире народа приветливее и гостеприимнее крымских татар. Через пять минут мы уже знали, что зовут его Муртаза, что он всё лето сторожит отары овец по склонам Яйлы и Карадага, а когда наступает осень и с моря начинает дуть норд-ост, возвращается к себе домой и зимует в Таракташе.

Пастух собирался провести ночь у водопоя. Быстро набрал он сухого кизяка и хвороста и развел огонь. Из сумки вынул кусок соленой брынзы, завернутой в чистую тряпку, хлеб и несколько красных помидор и всё это предложил нам отведать. Мы поблагодарили и тоже предложили ему наши припасы. От мяса он отказался, но взял кусок вяленого лобана и с наслаждением начал его жевать... Костер разгорелся. При неровном его свете мы рассмотрели лицо чабана. Он был старый — темно-коричневая, почти пергаментная кожа была натянута на выдававшихся скулах, а вокруг татарских, узких глаз легла мелкая сеть морщин. На Муртазе была грубая бумазейная рубаха, порыжевшие штаны, съужавшиеся у щиколотки, с широкой мотней, самодельные посталы, и вытертая смушковая шапка, сдвинутая на затылок.

Покончив с едой мы улеглись у костра с подветренной стороны и спросили пастуха, где он спит все эти летние месяцы?

— Места много, ответил он. Когда тепло, на воздухе сплю, на бараньей шкуре, — мягко, хорошо, подушки не надо. Когда холодно — в шалаш иду. Хуже всего в грозу, тут не до сна, смотреть надо. Когда гром гремит, шайтан гуляет, бьет палкой в небесные даулы[1]... А овца глупая, грозы боится. Как гром ударит, надо вожака крепко держать. А то обезумеет от страха, побежит, и за ним вся отара, и бежать будет прямо, ни на что не глядя, и тогда —

[1] «Даул» — большой татарский барабан.

беда: все овцы на смерть могут побиться, прыгая вниз со скал...

— Что же ты делаешь в горах один? Скучно, небось?

— Почему скучно? Дураку скучно, а умный — думает.

Так лежали мы, подложив под голову наши дорожные мешки, смотрели на далекое море и на глубокое небо, в котором дрожали и переливались большие и чистые звезды. И когда одна из звезд упала, мы «задумали желание», а татарин привычно сказал:

— Убей, Господи, врага веры.

Я задремал.

***

После «Бежина Луга» не принято писать о ночных рассказах у костров. Но что же делать? Костер был, мы лежали вокруг, и когда я проснулся, луна уже стояла высоко над головой, а чабан что-то рассказывал моему другу по-русски, пересыпая свою речь татарскими словами. Я начал прислушиваться.

— ...Даже самый глупый баран в моей отаре тянет морду туда, где трава гуще. Так и человек. А Гази Гирей не был бараном. Много нажил он богатства и ни у кого не было такого большого дома ни в Таракташе, ни в Отузах, ни в Судаке, ни в целом свете. Было у него золото и серебро, имел он красивых жен, много коней и овец, а такого чауша и шаслы, какая росла на его виноградниках, не было даже у бахчисарайских ханов.

Во всех татарских деревнях знали о богатстве

Гази Гирея и о его скупости. Жаден он был до денег, как голодная собака жадна до мяса, и чем больше богател, тем больше ему было нужно... Жадный человек не знает жалости. Бывают в наших местах засухи, или крупный град всё побьет на баштанах и в садах, или заболеет виноградник, и схватится тогда за голову бедный татарин, мечтавший выгодно продать урожай муската и жить на это целый год. Много есть бедноты в татарских деревнях. И хороший мусульманин отделит от себя бедному, что может: один даст барана, другой корзину душистых дынь, каравай хлеба, хоть горсть гороха, чтобы каждый человек был сыт и доволен своей судьбой. Такой у нас обычай! Через два месяца после Рамазана, перед праздником Байран Курбан, обходят муллы все дома и собирают подарки для бедных.

Приходили и к Гази Гирею. В этот день богач надевал самое старое и плохое свое платье, сидел на подушке, тяжело вздыхал и говорил:

— Ярамаз, пек ярамаз! Плохие, очень плохие дела...

И ни с чем уходил мулла, дивясь человеческой скупости и думая о том, что есть люди, у которых вместо сердца лежит в груди черный камень.

Много лет прожил Гази Гирей и много накопил он богатства. И когда наступила старость и он почувствовал, что скоро позовет его к ответу Аллах, заскучал богач. Что будет с сундуками, в которых лежит столько добра? Кому достанутся бухарские его ковры и на чьи руки перед намазом будут лить воду из его

серебряных ковшей? Сидел старик один, перебирал янтарные четки, думал свое. Не было у него ни друга, ни советника, с кем можно было бы отвести душу. Видел он всюду только воров-хирсызов, никому не верил, своей тени боялся...

Чабан остановился в этом месте, покачал головой и, чтобы подчеркнуть свое отвращение к Гази Гирею, изо всей силы, с презрением, плюнул в костер.

— Что же было дальше? — спросил мой спутник.

— А дальше было так. Прослышал он, что в город приехал мудрейший из мулл, всем муллам мулла, великий начетчик и знаток Корана. И позвал Гази Гирей в свой дом этого человека, усадил его на почетное место, опустил голову и стал жаловаться на свою судьбу. «Вот, мулла-эффенди, говорил он, дожил я до глубокой старости. Вчера был я молод, сегодня стар, а завтра люди будут говорить: «Неужели прошло уже десять лет, как умер Гази Гирей?» Много у меня чего накоплено и припрятано, и денег у меня больше, чем в море кефали. А вот теперь сижу я один в моем доме, люди сторонятся меня, и никто не приходит разделить со мной одиночество и мою скуку. Ты — мудрый человек, трижды бывал в Мекке, хорошо знаешь людей: за что не любят меня? Правда, не устраивал я праздников и не бросал денег с крыши моего дома, но богатства своего в могилу я не унесу. Нет у меня детей, состарились мои жены, и когда умру — всё я оставлю бедным, всё мое добро получат они после моей смерти. Почему же не любят меня люди?

Сидел мулла, смотрел на бедного богача, много думал, а потом сказал:

— Велик Бог в небесах, который наградил тебя богатством и умножил твои годы, Гази Гирей. Щедро отпустил он тебе всего, только не дал самого важного — души человеческой. Вот, хочешь ты отдать всё богатство бедным, но только после смерти... А вот что я спрошу у тебя: знаешь ли ты, эффенди, за что люди любят домашних животных? Любят их за то, что животные при жизни всё отдают человеку. Лошадей любят за то, что они работают на поле и тянут поклажу. Собаки стерегут твой дом, овцы дают шерсть, куры несут яйца, коров доят дважды в день, и даже самый последний ишак старается при жизни, — возит воду, тянет на спине хворост и корзины с виноградом... Любят люди всех животных, кроме одной, нечистой свиньи. Ибо только свинья при жизни ничего не дает человеку. Но всё отдаст она ему после смерти: свое мясо, сало, кровь, щетину, даже кишки... Вот тебе мой ответ эффенди.

На следующий день позвал Гази Гирей в дом всех таракташских стариков и мудрейшего из мулл. Раскрыл свои сундуки, заплакал и сказал:

— Хорошо ты говорил, мулла. Забирайте всё мое богатство, пока я жив. Раздайте его бедным, постройте школы и мечети, и пусть никто не посмеет сказать, что Гази Гирей жил и умер, как нечистая свинья.

Сказав это, поклонился он всем и ушел из дому, и больше никто не видел Гази Гирея и никто не узнал,

где и как кончил он свою жизнь... Давно это было, много лет назад, но до сих пор помнят люди о Гази Гирее и прославляют его имя.

Луна давно скрылась за Карадагом и где-то далеко, на востоке, небо начало светлеть. Мы лежали у костра, дремали и смотрели, как начинался новый день. Всё громче и смелей пели птицы в лесу, над морем быстро разгорался пожар, а потом сразу брызнули лучи и показалось огненное солнце. В утреннем свете лицо старика было усталым и печальным. Он встал, потушил костер и, направляясь к начинавшему блеять стаду, кивнул нам головой:

— Салахма! Прощайте.

К могиле святого на вершине Карадага мы пришли поздно, когда солнце стояло уже высоко и начало палить наши головы через татарские тюбетейки.

АЛЬБИН ДЕ БОТЭ

НА ярко освещенную открытую эстраду Летнего Сада выбежал, семеня ногами, человек в соломенном канотье, белом пиджаке и клетчатых штанах. Пробежав рысцой вокруг сцены, он снял шляпу, оскалил зубы и сказал дирижеру:

— Маэстро, прошу вас!

Маэстро взмахнул смычком и летний ансамбль братьев Хазунзун заиграл что то бойкое. Молодой человек, продолжая мелко семенить ногами, запел:

Друзья, признаюсь вам сейчас,
Женщин толстых страстно я люблю!

Оставаться дольше не имело смысла. За лето мы успели изучить весь художественный репертуар молодого человека в канотье, который уже смертельно всем надоел. После него выступала дебелая, совсем немолодая «королева русской песни» в сарафане и в жемчужном кокошнике, а в конце отделения «Четыре Соколовских», значившихся в программе акробатами и эксцентриками.

— Пойдем на мол, или пошатаемся тут, в саду? спросил Митя.

Мне, конечно, хотелось на мол. Там сейчас гуляли гимназистки и можно было встретить Лёку с подругами. Но взглянув на свои ноги я смутился: предстать перед Лёкой в таком виде не было никакой возможности. От хождения по аллеям Летнего Сада туфли покрылись слоем серой пыли. Не знаю, как на такие вещи смотрят теперешние шестнадцатилетние донжуаны, но в мое время белизна туфель, безукоризненная складка на брюках и свежий чехол на летней фуражке казались вещами, способными сыграть решающую роль в жизни влюбленного гимназиста.

С видом многострадального Иова я ткнул пальцем в запыленные туфли. Митя понял всё, без лишних слов. Мы начали ходить по аллеям Летнего Сада и, скуки ради, бросали репейники, которые мы называли колючками, в косы знакомым гимназисткам.

— Девочки, говорили мы солидными голосами, пшли домой! Мама, небось, послала в лавочку за спичками и керосином!

Гимназистки негодующе фыркали и, на ходу, с достоинством, отвечали, что плюют на нас с высокой сливы.

В саду постепенно публики становилось всё меньше. Художественный ансамбль братьев Хазунзун закончил программу исполнением попурри из русских песен, забрал инструменты и поплелся к выходу. Закрылся киоск с сельтерской водой. С шипением начали гаснуть матовые шары калильных ламп.

С гор потянуло свежим, ночным ветром.

***

Я проснулся рано. Через деревянные ставни пробивался свет и солнечные зайчики играли на выбеленной известью стене. Минуту я лежал неподвижно, обдумывая свои дела. Накануне мы условились с Митей пойти купаться на Суворовские камни и ловить там крабов и морских коньков, а вечером... Я был еще очень молод и в это лето тайно влюблен в Лёку.

К вечернему свиданию следовало тщательно подготовиться. Брюки еще накануне были аккуратно подложены под матрац и сохранили складку, которой мог бы позавидовать принц Уэльский. Христина обещала выгладить свежую рубашку с блестящими, сверкавшими гимназическими серебряными пуговицами. Оставались туфли. Чистить их полагалось на дворе, но оказалось, что нет специального камня для белой обуви.

В трудную минуту жизни я всегда отправлялся за поддержкой на кухню. Христина стояла у плиты, распаленная и сердитая, и кричала на водовоза Ибрагима, который не доливал ведра до самого верха, — водопровода в нашем доме еще не было, и по вечерам в гостиной по старинке зажигали свечи или лампу «Молнию». Входя в кухню я не удержался, поймал в жменю несколько мух и с размаха бросил их на желтый, липкий лист «Мухомора», а затем с невинным видом спросил, нет ли камня для чистки обуви?

— На вас не напасешься, огрызнулась Христина. Пойдите в аптеку до Фельдмана и купите, а у меня нет.

Камень стоил четвертак. Такой непредвиденный расход мог серьезно расшатать мой бюджет. Но Христина неожиданно смягчилась и посоветовала:

— А вы, паныч, мелом их почистите... Мелу у нас сколько хотите. Вот там, на полке, в торбе.

В общем, это была неплохая идея. Мел я высыпал в блюдце, с видом средневекового алхимика развел его водой и начал мазать белой жидкостью по туфлям.

Результат превзошел все мои ожидания.

Через четверть часа выставленные на солнце туфли просохли и засверкали такой девственной белизной, что хотелось зажмурить глаза. Правда, чудодейственный порошок быстро осыпался, но по совету многоопытной Христины я подсыпал в блюдце ложку муки-крупчатки. Теперь белая масса плотно покрывала туфли и радовала глаз художника и артиста. Такой работе мог позавидовать даже грек Гандалаки, чистивший ботинки на тротуаре, против Европейской Гостиницы.

Увидев мои туфли, Митя протяжно засвистал и завистливо сказал:

— Шик — блеск, иммер элегант... Откуда?

Чудодейственный порошок не был еще запатентован, но от лучшего друга я не имел секретов. После того, как и его туфли стали белоснежными, Митя крепко пожал мне руку и сказал:

— Я всегда верил в тебя, дегенерат. Сколько у тебя еще имеется этого драгоценного порошка?

— Вот, в блюдце. И еще в кулечке осталось с полфунта.

— Отлично. Мы вступаем, милостивые государи и милостивые государыни, лекторским тоном сказал Митя, в период хищнической эксплуатации природных богатств Крыма и буйного экономического расцвета правящих классов. Ты Бокля читал?

Конечно, как всякий уважающий себя гимназист я Бокля «проштудировал». Но в этот момент мне еще не было вполне ясно, какое отношение имеет Бокль к мелу, который быстро высыхал на дне блюдечка.

— Законы спроса и предложения, строго сказал Митя, регулируются общим состоянием экономического рынка. В Феодосии сейчас наблюдается съезд обезумевших туристов, усиленно скупающих предметы первой необходимости, — войлочные шляпы, палки для экскурсантов и коробки, оклеенные ракушками. Наш порошок для чистки белой обуви несомненно является предметом первой необходимости для всех франтов, щеголяющих в белой обуви.

— Не наш, а мой порошок, угрюмо поправил я.

— Ты — изобретатель, миролюбиво ответил Митя, а изобретатели, как известно, в капиталистическом обществе умирают с голоду до того момента, пока судьба не сводит их с умным, предприимчивым дельцом, который начинает массовую продукцию предмета и наводняет им рынок. Тебе повезло. Роль умного, предприимчивого дельца я принимаю на себя.

Идеи Бокля в применении к местным условиям начали с этой минуты облекаться в более конкретные формы.

— Что нужно, продолжал Митя, охваченный по-

рывом священного вдохновения, для массового производства нашего порошка? Нужно иметь поблизости от фабрики источники сырья. В любом скобяном магазине за 20 копеек мы можем купить 10 фунтов толченого мела. Для начала этого хватит. Христина снабдит нас фунтом муки-крупчатки. Громадное значение имеет внешний вид предмета, выброшенного на рынок. В типографии Цвибака можно в кредит отпечатать белые пакеты небольшого размера. С одной стороны — звучное название порошка. На обороте, — американский рецепт чистки белой обуви и цена чудодейственного порошка: 25 копеек. У тебя приготовлено звучное название?

— Нет, признался я.

— Очевидно, вся тяжесть производства падет на меня, сказал Митя. «Белый лебедь»? Нет, не подходит... «Альбатрос»?

И вдруг, меня осенило вдохновение:

— «Альбин», сказал я. Звучит по заграничному. Импортированный продукт, почти контрабанда. Можно сделать название еще более эффектным, французским: «Альбин де Ботэ».

Митя внимательно посмотрел и сказал:

— Дегенерат, ты далеко пойдешь. «Альбин де Ботэ», любимый порошок французских королей. Главный склад в аптекарском магазине Фельдмана, на Итальянской улице.

— Во Франции давно нет королей, запротестовал я. Вообще, не следует в торговле затрагивать политические вопросы. Наш порошок может покупать

и передовая интеллигенция, проникнутая революционными идеями. Короли всё испортят.

— При твоих умственных способностях можно легко стать членом Государственной Думы, сказал Митя. К чорту королей! «Альбин де Ботэ», — это, по словам Горького, звучит гордо. Идем запасаться сырьем.

Я надел фуражку. Митя оглянулся и, гарцуя на воображаемом коне, скомандовал:

— К церемониальному маршу... С соблюдением двухвзводной дистанции... Первая рота, равнение на середину, шагом-марш!

Мы двинулись церемониальным маршем навстречу головокружительному успеху.

* * *

Отпечатанные в кредит пакетики «Альбин де Ботэ» лежали на подоконнике в моей комнате, которая ради торжественного случая была названа лабораторией. Оборудование лаборатории пока было довольно примитивное. На подоконнике стояла большая миска, в которой изобретатель и финансовый директор нового предприятия смешивали мел с мукой и, чихая, рассыпали порошок по пакетикам.

Когда первые 50 пакетов были готовы, мы уложили их в коробку и отправились к Бене Фельдману.

Митя вошел в аптеку первый, с независимым видом. За ним, со скромностью, присущей ученому изобретателю, следовал я.

— Здрасьте, мальчики, сказал Беня, взглянув на нас поверх очков, висевших на кончике его носа... Что вам надо? Бутылку Боржома, или порцию касторки?

Вместо ответа Митя небрежно бросил на прилавок несколько пакетов. Беня взял один пакетик, вскрыл его с таким видом, словно внутри лежал динамит, растер порошок на ладони и спросил:

— «Альбин де Ботэ». Ну, хорошо. А кто мне поручится, что это не крысиный яд? И что этот порошок не испортит туфли покупателей?

Митя и я гордо вытянули вперед ноги. Наши туфли, покрытые двойным слоем «Альбина», сверкали, как снежная верхушка Монблана в солнечный день.

Как настоящий южанин, Беня ценил хорошо вычищенную обувь. Инспекция вполне его удовлетворила.

— Попробую пустить в ход сказал он. Условия обычные: десять копеек вам, пятнадцать мне.

— Мосье Фельдман, почтительно взмолились мы, побойтесь Бога! Наш товар, наш труд, заграничная упаковка. Вы даете только распределительный аппарат. Входит покупатель, берет пакет «Альбина», и в одну секунду вы хотите заработать 15 копеек!

Но Беня Фельдман тоже изучал политическую экономию и давно понял, что мир делится на эксплуататоров и эксплуатируемых. Он хотел быть эксплуататором.

— Овес нынче дорог? — ехидно спросил Беня. Хватит с вас гривенника, паршивцы. А нет — станьте на углу, около «Электробиографа» и продавайте сами

ваш порошок. Может быть вам улыбнется счастье и у вас купит пакетик инспектор гимназии. Будет очень интересно.

Урезонить эту акулу капитализма не было никакой возможности. В конце концов, мы были не в убытке. Мел в те времена стоил две копейки фунт, а из фунта мы делали два десятка пакетов.

К вечеру мы прогуливались по Итальянской улице с видом заговорщиков и каждый раз останавливались у витрины аптекарского магазина. В центре витрины стоял освещенный изнутри сосуд с зеленой жидкостью, который полагался в окне каждого уважающего себя аптекаря. А вокруг, в артистическом беспорядке, Беня разбросал пакеты «Альбин де Ботэ»... Через два дня провизор поманил нас пальцем и сказал, чтобы мы принесли еще сотню пакетов и выдал нам авансом 3 рубля. Вечером мы кутили в татарском погребке, ели жирную тарань и горячие, румяные чебуреки, запивая всё кислым белым вином кн. Голицына. В тот же вечер произошло другое, немаловажное событие: во время прогулки на волнорезе Лёка получила букет чайных роз.

Началась удивительная полоса нашей жизни. Днем мы работали в лаборатории, на подоконнике, рассыпая порошок в пакетики. Вечером гуляли в Летнем Саду или на волнорезе. Мы больше не бросали колючек, — это было недостойно новых Вандербильтов. Лёка прятала лицо в чайные розы, мерцала глазами и загадочно молчала. Лицо ее в лунные ночи было прекрасно.

**
*

Кончилось всё это довольно неожиданным образом, — революцией 1917 года.

Сначала в нашем городе исчезли туристы. Потом Христина заявила, что муки-крупчатки больше нет, и она не позволит тратить запасы на такие пустяки, как «Альбин де Ботэ». И, самое главное, начали исчезать не только белые туфли, но и ботинки вообще.

Охваченные сумасшедшей жаждой наживы мы с Митей затеяли производство дамской губной помады, которая была названа «Сильва ты меня не любишь». Расчет был построен на то, что даже в революцию женщины должны мазать губы. Так как крупные парижские фирмы давно украли у меня секрет изготовления «Сильвы», я теперь могу опубликовать этот несложный рецепт.

Важную роль во всем производстве играл мясник Нафтули из Пассажа, у которого мы из-под полы покупали бараний жир. Жир растапливали на плите, под вопли и протесты Христины, а затем смешивали с охрой. Полученную красную и жирную массу разливали в бумажные трубочки. Об остальном заботился Беня Фельдман, начавший относиться к нам с некоторым уважением. «Сильва» немного отдавала запахом бараньего курдюка, но во время революции на такие пустяки никто не обращал внимания.

Массовое производство губной помады было сорвано Христиной, которая проникла в лабораторию и похитила запасы бараньего жира, ставшего к этому

времени большой редкостью и гастрономическим деликатесом. Жир пошел на приготовление котлет и жареного картофеля. Мы уничтожали котлеты точно так, как Кронос пожирал собственных детей.

С этого момента всё пошло прахом. Период буйного капиталистического расцвета бесславно кончился. У Нафтули не было бараньего жира; аптеку Бени Фельдмана реквизировали, да и нам самим стало небезопасно показываться на улицах.

Конечно, во всем виновата революция. Без исторических событий я и сейчас фабриковал бы «Альбин де Ботэ», но уже во всероссийском масштабе. К сожалению, события иногда оказываются сильнее людей.

НАПОЛЕОНОВСКИЙ КОНЬЯК

О Наполеоне я узнал много позже, когда подрос и начал читать об Отечественной войне. А впервые я услышал его имя в связи с коньяком. Кто-то привез отцу в подарок из Франции бутылку коньяку, — такого старого, что вся она была покрыта пылью и паутинкой. Я удивлялся, как отец мог взять в руки такую гадость и грязь? Но, очевидно, ничего противного в этом не было. Наоборот, отец явно любовался бутылкой, коричневой сургучной печатью на горлышке и наклейкой с надписью на непонятном мне языке.

С детства я уже отличался порядочной назойливостью и немедленно начал приставать:

— Папа, а папа... Покажи!

— Это не для детей, строго сказал отец. Лучше пойди и займись переводными картинками.

Так всегда кончались мои попытки сближения со взрослыми: они отсылали меня смотреть картинки или готовить уроки. Но некоторая торжественная почтительность в действиях отца не давала мне покоя.

— Папа, а папа... А что это такое?

— Детка, не приставай, — ответил отец. Это — наполеоновский коньяк. Ему больше ста лет.

Сто лет, — это почти столько, сколько самому папе, а может быть и больше. Но что такое — коньяк? Так как о спиртных напитках я имел в эти годы смутное представление, содержимое бутылки представлялось мне чем-то вроде крепкого и, вероятно, очень сладкого чая.

— Когда мы будем пить наполеонский коньяк, папа? — спросил я в тайной надежде, что бутылка тут же будет откупорена и мне предложат большую чашку, только как взрослым, без молока!

Отец подумал и сказал:

— Это, мальчик, полагается пить в очень торжественных случаях. Вроде шампанского... Ну, скажем, когда ты поступишь в гимназию. Хорошо?

Я начал подсчитывать по пальцам. Получалось что-то очень много и время от времени я сбивался, начинал сначала. Отчаявшись, я пошел на кухню к Христе, возившейся у плиты, и спросил:

— Христя, через сколько лет я поступлю в гимназию?

Христя вытерла подолом фартука лицо, подозрительно на меня посмотрела и, в свою очередь, спросила:

— А тебе зачем это знать? Много будешь знать, скоро состаришься.

Я как раз мечтал поскорей состариться и настаивал:

— Это очень важно, Христя. Папа обещал, что в этот день мы будем пить наполеонский коньяк.

Христя фыркнула и сказала:

— Когда рак свистнет, а щука запоет.

Повторяю, я был очень маленький и иронии не понял. Но загадочная фраза Христи вызвала в моем сознании некоторое изумление: неужелии раки свистят, а щуки поют? Вот бы добыть такого рака! Петька Новиков чудно свистит, — ему уже пятнадцать лет и это не удивительно. Поющая щука меня не заинтересовала, — в те годы к пению и к певицам я был еще совершенно равнодушен. Но какое отношение рак и щука имеют к моему поступлению в гимназию? И кто такой этот Наполеон, приславший отцу в подарок бутылку своего коньяку?

Чтобы сбить спесь с Христи, которая очень уж зазналась со своим свистящим раком, я сказал, выходя из кухни:

— Когда я буду большой, я тоже засвистю.

***

Вот я иду по улице и мне кажется, что в мире нет великолепнее и счастливее человека: на мне еще матросский костюмчик, — тот самый, в котором я держал экзамен, но на голове уже новенькая гимназическая фуражка, вся какая-то твердая, оттопыренная, с блестящим кожаным козырьком, белым кантом и серебряным гербом: два гусиных пера, а посреди буквы «Ф. Г.» — Феодосийская Гимназия. Завтра будет готова моя форма, мне купят кожаный пояс с бляхой и я навсегда расстанусь с ненавистными короткими штанишками и матросской курточкой.

День по осеннему солнечный, еще теплый, а я уж мечтаю о том, чтобы поскорей начались холода; тогда можно будет надеть серую гимназическую шинель с серебряными пуговицами и хлястиком сзади, шинель до пят, совершенно, как у кавалеристов. Чтобы еще больше напоминать кавалериста, я начинаю ходить, слегка раскорячив дугой ноги, но это увлечение быстро проходит, так как никто не обращает внимания на мою походку. Зато гимназическая фуражка приводит всех в восхищение. Мне кажется, что все встречные сначала застывают на месте, потом восторженно всплескивают руками и начинают поздравлять папу. При чем здесь папа, если экзамен выдержал, всё-таки, я? Фуражка имеет еще одно бесспорное преимущество: никто больше не может гладить меня по стриженой ежиком голове. Я перестал быть ребенком и превратился в гимназиста. Интересно, что скажет Нюся Харитон, когда увидит меня во всем этом великолепии?

Неизвестно, как далеко завела бы меня мания величия, если бы в этот момент мечтания не были прерваны тремя мальчишками из городского училища, с которыми я ловил голубей, обменивался марками и играл в ашики. Они вылетели из-за угла на манер Кузьмы Крючкова, с казачьим гиканьем, и на ходу сбили с меня драгоценную фуражку, скатившуюся на пыльную мостовую и сразу утратившую всю свою девственную свежесть. Можно было за ними погнаться, поймать хотя бы одного и как следует проучить. Но я благоразумно поднял картуз, стер ру-

кавом пыль с околыша и, с трудом сдерживая подступившие слезы, нахлобучил оскверненную фуражку на стриженную голову с нелепо торчавшими по сторонам ушами.

Друзья беспечных юных лет улюлюкали и кричали из-за угла:

— Не задавайся на макаронах! Гимназистом быть, надо чисто ходить!

Отвечать было выше моего достоинства: я уже знал наизусть гимназический билет, начинавшийся словами: «Дорожа своей честью, ученик не может не дорожить честью своего учебного заведения». Хотя в данном случае явно была затронута и моя личная честь, и престиж учебного заведения, их было трое против одного. Пришлось удовлетвориться тем, что я издали погрозил им кулаком и крикнул о старшем брате, который им покажет. У каждого из нас в критические минуты жизни был про запас старший брат. Затем, с независимым видом, словно ничего не произошло, я проследовал домой.

А дома ждали слезы радости, расспросы, подарки и парадный обед, во время которого за здоровье будущего ученого пили шипучий хлебный квас. Только несколько дней спустя я вспомнил обещание отца, — раскупорить наполеоновский коньяк в день моего поступления в гимназию. Но момент был упущен, волнение в доме уже улеглось, и отец сказал:

— Знаешь, теперь не стоит. Подождем другого торжественного случая. Вот будет наша серебряная свадьба... Тогда и откроем.

— Хорошо, только покажи бутылку, — попросил я.

Отец вынул из комода коробку, завернутую в полотенце, чтобы предохранить коньяк от случайного удара, и бережно его развернул. Внутри, на вате, важно возлежала пыльная бутылка, с приставшей к ней соломинкой и паутинкой, со всеми внешними аттрибутами давности и с сургучной нетронутой печатью. Я уже прочел «Войну и мир», бредил Наполеоном и подумал, что это — тот самый коньяк, который, быть может, возили за Императором в его походном поставце. Это была почти история, первая историческая реликвия, которую я увидел в жизни. Должно быть, нечто вроде этого чувствовал и отец, ибо он вполголоса запел: «Знамена победно шумят, тут выйдет к тебе Император, из гроба твой верный солдат!».

И бутылка с теми же предосторожностями снова была спрятана в комод.

***

Постепенно этот наполеоновский коньяк превратился в символ будущего, очень важного и счастливого события в нашей жизни. Мы думали о реликвии даже с некоторым суеверием, и временами нам начинало казаться, что коньяк этот, хранившийся так много лет, искушавший несколько поколений, никогда открыт не будет и что на него не поднимется кощунственная рука.

Годы шли, дети подрастали. Околыш моей фу-

ражки давно уже был сломан и, по мнению инспектора гимназии Головотяпа, принял недопустимо легкомысленный, абитуриентский вид. Давно уже моя парта была изрезана женскими именами и пронзенными сердцами, а младшая сестра Бахаревич безжалостно вытеснила кроткую Нюсю... Именно в это время, совпавшее с переходом в шестой класс, я почему-то начал усиленно заботиться о складках на штанах и потребовал, чтобы Христя туго крахмалила мои воротнички и манжеты. В эту весну случилось и другое событие, затмившее собой даже мое увлечение младшей Бахаревич: началась революция.

В нашем глухом провинциальном городке революция произошла вполне идиллически: попросту разоружили городовых, а затем стащили с пьедестала чугунную статую Александра III. Было очень весело и приятно, — статую обмотали канатами и потянули вниз. Я тоже тянул канат до того момента, пока из толпы не вышел Головотяп. Инспектор направился ко мне и тихо, но весьма внушительно, посоветовал:

— Сейчас же прекратите это безобразие и идите домой... Тоже, революционер нашелся!

На этом моя революционная карьера закончилась, — других, сколько нибудь значительных событий, в ней больше не было. Рассказываю я всё это, чтобы объяснить, почему мы не могли отпраздновать серебряную свадьбу родителей: было уже не до празднеств. Революция углублялась. В тот день, когда я пришел домой и сообщил, что меня выбрали в Педагогический Совет представителем от учащихся,

вместе со сторожем Игнатом, который до сих пор вытирал шваброй бесконечные коридоры гимназии, отец схватился за голову и сказал:

— Боже мой! Начинается...

Всё, действительно, только начиналось. Гимназисты стали ходить на митинги и слушали, как городские музыканты-клезмеры, братья Хазунзун, играли «Марсельезу» и «Вы жертвою пали». Тогда же, с помощью Игната, выбрали нового директора гимназии. Мы считали его либералом потому, что при старом режиме он никогда не ставил двоек.

В день серебряной свадьбы, к отчаянию матери выяснилось, что даже приличного обеда нельзя приготовить. Лавки давно были закрыты, а на базаре продавали только бычки да камсу... Одним словом, меню в этот день было не такое, чтобы откупорить наполеоновский коньяк. Отец объявил, что это будет сделано при следующем семейном событии, когда я окончу гимназию.

— Если только до этого ты не станешь директором, сказал отец, который всё видел в мрачном свете.

Нужно было ждать еще два года... Но какие же это были годы! Братья Хазунзун играли уже не «Марсельезу», а «Интернационал», по улицам ходили солдаты, увешанные пулеметными лентами, а комендантом города стал косоглазый матрос Петька Новиков, — тот самый Петька, который так виртуозно свистал в детстве.

Пошли аресты. Когда забрали кладбищенского священника, отца Феодора, бабы на Базарном привозе

устроили бунт. Привоз был рядом с кладбищем и торговки считали отца Феодора своим духовником. В полдень сотня разъяренных баб двинулась в город, к Комендантскому управлению, у ворот которого дежурили моряки с пулеметом.

На крики толпы Петька вышел на балкон. Бескозырка его была сдвинута на затылок, у пояса болтался наган, и весь вид свидетельствовал о том, что он твердо решил защищать завоевания революции. Мать коменданта, старуха Новиковша, подбоченилась и завопила из толпы истошным голосом:

— Петька, идол косоглазый! Комендант, мать твою так и сяк... Отпусти батюшку! Отпусти батюшку, или я, туды тебя и сюды, всю морду раскровяню!

Петька стоял на балконе и кусал губы. Это был явный подрыв престижа советской власти. Побелев от злобы, он начал кричать в ответ:

— Мамаша, вас лично попрошу разойтись... Мамаша, разойдитесь!

Не знаю, как происходила революция в Москве и в Петрограде, но в маленьком городе всё было по семейному и сцена эта никого не удивила, — комендант революционной власти всё же оставался для нас Петькой, а Новиковша никак не походила на Шарлотту Кордэ.

Батюшку отпустили, но в ту же ночь председатель Ревсовета, портовый дрогаль Барзов, приказал арестовать в качестве заложников двадцать буржуев. В числе арестованных оказался и мой отец.

Матросы пришли в дом ночью, предъявили при-

каз об аресте и произвели обыск, — искали спрятанное оружие. Ничего они не нашли, но в комоде был обнаружен загадочный предмет, завернутый в мохнатое полотенце.

— Бери на исследование, сказал начальник патруля. Легче, братцы!

Мы стояли вокруг и молчали. С бесконечными предосторожностями, словно внутри была бомба, коробку открыли и сняли вату. Бутылка засияла во всей своей первобытной красоте.

— Товарищи, сказал матрос. Товарищи и братья! Есть случай выпить за успех и процветание революции.

Я всегда считал, что русская буржуазия морально обанкротилась, не оказав революционной черни должного сопротивления. Мы стояли молча, подавленные, парализованные, и никто из нас не сказал, что это — символ, что с этой бутылкой связана история нашей семьи, что грубое прикосновение к ней является кощунством. А матрос с видимым удовольствием прищурил глаз, посмотрел на свет и коротко и осторожно ударил старинной бутылкой по краю мраморного туалетного столика... И горлышко с сургучной печатью отлетело, полстакана драгоценной жидкости пролилось на пол, а остальное забулькало в горле у матроса. Бутылка с отбитым горлышком стала переходить из рук в руки, пока на дне ее ничего не осталось, кроме мелких осколков стекла, упавшего внутрь.

На этом история наполеоновского коньяка кончается. Отца той же ночью Петька Новиков освобо-

дил. Выпустил он и остальных буржуев и каким то образом попавших в их компанию заслуженных деятелей искусства братьев Хазунзун. Их захватили после митинга, вместе с музыкальными инструментами.

Выйдя из ворот тюрьмы Хазунзуны пошептались, стали на улице полукругом и, бодро размахивая смычками, на радостях и из благодарности заиграли «Интернационал».

ТАЛИСМАН

В каждом доме, в шкафу, можно найти коробку, туго перевязанную бичевкой, со старыми письмами и бумагами, когда-то казавшимися очень важными. Проходят годы, о коробке давно все позабыли, пока случайно ее не извлекают на свет Божий. Коробка лежит на полу с виноватым видом, и вдруг всем становится ясно, что именно из-за нее в доме стало тесно, что в шкафах больше нет места даже для очень важных вещей, и что этот немного загадочный и никому ненужный предмет мешает жить.

— Посмотри, что там внутри, и всё ненужное выбрось, пожалуйста, предлагает жена с деланной кротостью, не допускающей возражений.

Это очень интересное занятие, — просматривать содержимое старых коробок. Плотные пачки писем, которые я собираюсь перечесть уже двадцать лет и не нахожу для этого подходящего времени. Пусть лежат дальше. Когда-нибудь, в свободный вечер, нужно будет их разобрать. Какие-то летние фотографии с людьми, — ни одного имени я давно уже не помню. Мы провели вместе две недели в горах, снимались на скалах и около водопада, при расставании клятвенно обещали, что будем встречаться и — никогда не встре-

тились, и никогда друг о друге не услышали. Кто же это такие, — все эти мужчины в соломенных канотье и слегка полнеющие дамы в декольтированных летних платьях? А кто эта дама в широкополой фетровой шляпе, из-под которой так загадочно смотрят на меня томные глаза с лирической поволокой? Даму следовало бы выбросить, но вдруг становится жаль. Может быть, я еще вспомню. И карточка, вместе со многими другими, опять отправляется в коробку. Дальше идут газетные вырезки, постепенно превращающиеся в желтую труху, испорченное самопишущее перо, пачка тупых и изгрызанных карандашей, часы-браслет, сохранившиеся со студенческих времен. А это что? Со дна коробки извлекаю какой-то мешочек из зеленого плюша, затянутый тесемкой. Внутри аккуратно сложенная бумажка, и на ней, коряво и полуграмотно, выведено:

«Лягу я раб Божий помолюсь, встану я благословясь, умоюсь я росою, утрусь престольною пеленою, пойду я от дверей в двери, из ворот в ворота, выйду в чистое поле, во зеленое поморье. Стану я на сырую землю, погляжу в восточную сторонушку, как красное солнышко воссияло: припекает мхи, болота, черные грязни. Так бы прибегала, присыхала, раба Божия Нина о мне рабе Божием Андрее, очи в очи, сердце в сердце, мысли в мысли; спать бы она не засыпала, гулять бы не загуляла, аминь тому слову».

— Что за чепуха! подумал я. Откуда у меня это заклинание, в котором я прошу, чтобы «присыхала» по мне раба Божия Нина?

Нину я помню. Это было давно и, может быть потому, что в тайниках памяти лучше всего сохраняются очень давние события и образы, Нина так отчетливо выступает сейчас передо мной, со множеством деталей: легкий налет загара на молодом лице, очень светлые, почти прозрачные, серые глаза, не совсем еще развитые девичьи плечи и трогательные, выдающиеся ключицы. В это лето она носила какие-то особенно легкие платья, очень узкие в талии, волосы зачесывала назад, так, что они спадали широкой волной на плечи, говорила низким, грудным голосом... Кажется, она подражала какой-то знаменитой актрисе, которая приехала в город на гастроли и очень быстро свела всех нас с ума.

Конечно, я был влюблен, писал даже стихи, и по ночам мы сидели на молу, как завороженные, смотрели на лунное серебро, разлитое по морю, и целовались, пока лицо Нины не становилось совсем бледным. Тогда она медленно откидывалась и смотрела на меня удивленными и слегка испуганными глазами, и потом уже не было ничего, кроме удивительной тишины и ярких звезд в высоком, синем небе.

Днем мы встречались на раскаленных камнях у самой воды. Солнце палило невыносимо, в закрытых глазах плыли оранжевые и зеленые точки и диски. Иногда нерешительно набегала волна, лениво разбивалась о камни, взлетая вверх клочьями мыльной пены, и мы вздрагивали и ежились, когда ледяные брызги падали на наши распаленные солнцем тела.

Мы почти не говорили. Всё важное было уже

сказано, и только время от времени, даже не поворачиваясь в мою сторону, очень тихо и настойчиво Нина спрашивала:

— Да?

— Да, отвечал я.

— Очень?

— Очень.

И вскоре после этого она ушла от меня, ушла неожиданно и без объяснений, попросив лишь вернуть ей фотографию и письма. Это показалось мне тогда ребячеством и ненужной жестокостью, но только теперь, много лет спустя, я понял, что она была права: все эти письма неизбежно оказались бы в этой самой картонке, в глубине шкафа, забытые вместе с другими свидетельствами моего несложного прошлого. Я писал ей отчаянные письма, умоляя вернуться, ревновал к кому-то неизвестному, кто отнял у меня Нину, часами подкарауливал у ее дома, но она никогда не появлялась, а потом мне сказали, что она уехала в большой университетский город. Можно ли забыть такое горе? Нина снилась мне по ночам, я начал писать дневник, и вдруг, не выдержав, тоже уехал из города, где всё ее напоминало, — бежал от воспоминаний, — они преследовали меня на каждом шагу, наполняли мою двадцатилетнюю жизнь невыносимой и сладкой болью.

Уехал я в жаркий августовский день на линейке под парусиновым навесом. Было нестерпимо душно. Лошадь в соломенной шляпе, из которой торчали уши, лениво плелась, на ходу стегала себя хвостом по

бокам, отгоняя оводов и мух. Пыльная дорога лежала унылой, солончаковой степью. Видно было, как струился горячий воздух. Высоко, в бесцветном и мглистом небе, парил ястреб. Куда хватал глаз, — вся та же голая, выгоревшая, какая-то древняя степь, редкие курганы, да высохший кустарник, чертополох, — дичь, глушь, одиночество. Какая тоска!

К полудню мы отъехали всего верст пятнадцать и остановились у Немецкого Хутора, с ветряком и несколькими пыльными тополями. Нужно было напоить лошадь, дать ей отдохнуть, да и нас самих разморило и клонило ко сну. Я выпил холодной, колодезной воды и прилег на траву, в тени деревьев, у самой дороги. Лицо пылало от полуденного зноя. Я намочил платок водой, с наслаждением закрыл им лицо, и сразу в прозрачной мгле появилась Нина, «девичий стан шелками схваченный», светло серые испуганные глаза и единственные в мире теплые и покорные губы.

Должно быть, я заснул. Разбудил меня скрип колес, чей-то громкий смех и гортанный говор. По дороге, мимо хутора, тащилось некое подобие кибитки, крытой рваным брезентом. Босоногий, черноволосый цыган со шрамом на лбу и серебряной серьгой в правом ухе, вел под уздцы лохматого конька, угрюмо и осторожно ступавшего по глубокой, серой пыли. Рядом с ним шла молодая и тоже босоногая цыганка. Шла она какой-то особенно легкой походкой, слегка виляя еще неотяжелевшими бедрами, и в такт ее шагу на груди позванивали монисты и оже-

релья из золотых монет и бряцали бесчисленные браслеты на тонкой, смуглой руке.

— Тэ драбакирэс прэ патря! Надо погадать ему на картах, сказала цыганка своему спутнику, кивнув головой в мою сторону и, легко соскочив с дороги, подошла ко мне и еще на ходу начала привычной, певучей скороговоркой:

— Дай, барин, погадать на счастье. Дальняя дорога тебе предстоит, тала́но — радость большая ждет тебя, только не пропусти ее, потом не вернется. За океан-моря поплывешь, дом новый будет, друзья верные, я тебе всё расскажу... Позолоти ручку, барин!

Я молчал. Сознание после сна возвращалось медленно, а гадалка всё сыпала скороговоркой, мешая русские слова с цыганскими, и всё говорила про какое то тала́но-счастье, ждущее меня за дальними морями, в чужой стране.

— А только вижу я, хорошая ты душа, мучаешься напрасно, по девушке зря страдаешь, слезы горькие льешь. Дай карточку вытяну тебе, всю правду скажу, потом благодарить будешь. Только сначала позолоти ручку. У тебя, барин, нос питерский, меньше чем за четвертак гадать не буду!

Я позолотил ей ручку, дал четвертак, и в руках цыганки вдруг оказалась пухлая, грязноватая колода карт. Она быстро их перетасовала, присела на корточки, рядом со мной. На пыльную траву легли в ряд девять карт. Цыганка молча на них смотрела, качала головой и потом забормотала:

— Дама червонная... Нанэ гавра гожона́... Нет

другой такой красавицы... А только валет трефовый мешает ей любить тебя. Забудь красавицу, барин. Тебе в жизни другая женщина поставлена, вырви эту из сердца...

Почему у червонной дамы глаза вдруг становятся светло-серыми и смотрят на меня так пристально и насмешливо? Как забыть Нину, как вырвать ее из сердца, цыганка?

— Не любовь у тебя, барин, а по-нашему дукха, болезнь или горе. Я тебе заговор за рублик продам, хороший заговор, испытанный. На груди носи, три раза в день читай, на заре утренней, в полдень и ночью, при звездах, — выйдет из тебя дукха, опять счастливый будешь...

Я встал, покачал головой и пошел прочь, сказать кучеру-татарину, что пора запрягать и ехать дальше. А цыганка шла за мной, монисты позванивали на ее маленькой и упругой груди, и она всё старалась продать свой талисман.

— Рыба глаза имеет, а ушей у нее нет... Так и ты: смотришь, а не слышишь, что я тебе говорю. А потом мучиться будешь, пожалеешь, что меня не послушал. Заговор мой хороший, испытанный, тоску-печаль из сердца вырвет, девушка сохнуть будет по тебе, красавец мой... Дай рублик, барин!

Я дал ей рублик и получил мешочек из зеленого плюша и бумажку, заранее изготовленную, в которую вписала она имя рабы Божией Нины. Помню, как прочел я заговор, стыдясь самого себя, пожал плечами и сунул талисман в карман и, верно, забыл о нем

тотчас после того, как цыганская кибитка скрылась за спуском на дороге. Долго смотрел я им вслед. Цыганка догнала мужа, отдала ему деньги, и они пошли рядом, разговаривая друг с другом, и почему-то я им позавидовал, — такой простой и бездумной была их жизнь по сравнению с моей, казавшейся мне тогда безнадежно и навсегда испорченной.

Каким образом заговор сохранился у меня все эти годы странствований, бесконечных переездов из одной страны в другую? Так много важного и ценного было за это время потеряно, утрачено на веки вечные, забыто, а мешочек с нелепым заговором, когда-то проданный мне крымской цыганкой, пережил все войны и революции, все житейские катастрофы, и чудом оказался в моей нью иоркской, — которой по счету? — квартире. Заклинание я дважды перечел, слово за слово, а затем положил плюшевый мешочек на место, в коробку со старыми письмами и поставил назад, в шкаф.

Всё же, цыганка меня не обманула. Очень скоро после этого я Нину забыл, получил свое тала́но-счастье, и позже встретил женщину, которая совершила со мной дорогу дальнюю, переплыла моря-океаны, и против любви к которой мне не помогут уже никакие заговоры и талисманы.

ЛЕТО В ИТАЛИИ

ВЕНЕЦИЯ

Венеция, город вечных вдохновений.
С. Дягилев.

Старый бронзовый мавр на Торе дель Орологжио медленно поднял молот и ударил в колокол. И в то же мгновенье грянула полуденная пушка. Над площадью Св. Марка взметнулись тучи голубей. Напуганные, пронеслись они в сторону Дворца Дожей и уселись в тени, терпеливо выжидая, когда перестанут бить колокола и всё успокоится.

Через минуту голуби вернулись к своим прерванным занятиям, снова принялись клевать кукурузные зерна из рук туристов и позировать фотографам. Можно ли представить себе площадь Св. Марка без голубей, без всей этой праздничной, ленивой толпы, за которой наблюдали мы, сидя под прохладной колонадой в кафе Флориана?

Еще вчера был Париж, шумный лионский вокзал, — преддверье Юга, — зеркальные стекла голубых вагонов симплонского экспресса. Всю ночь шел дождь. Швейцария на утро тонула в густом, молочном тумане. На мгновенье поднялся из озера, как

призрак, Шильонский замок, а потом снова, — туман, дождь, протяжные, заглушенные свистки локомотива, входящего в туннель, в ночь, в темноту.

Но Италия не разочаровала — встретила синим небом, ослепительным солнцем, чудесными пейзажами Ломбардии. Из экспресса поезд вдруг превратился в омнибус, останавливался на каждой станции, и после скучных, деловитых швейцарских вокзалов, всё вокруг ожило, зашумело бестолково и весело, и камерьеры из буфетов, появившиеся на перронах, толкали перед собой тачки и певуче выкрикивали:

— Вино... Фрутти... Джелатти!

Поезд подходил к Венеции.

***

Гондольер берет наши вещи, и вот мы на Каналэ Грандэ, в котором тихо плещет какая то необъяснимо притягивающая к себе зеленая вода. Черная гондола бесшумно скользит, проплывает мимо дворцов, обгоняет другие такие же гондолы; гондольеры в соломенных шляпах с лентами, стоя на корме, наваливаются на длинные весла, перебрасываясь друг с другом ленивыми фразами и показывают нам на ходу достопримечательности города... Солнце давно уже зашло, но в сумерках отчетливо вырисовываются фасады палаццо и церквей, и мраморные статуи святых, благословляющих город Дожей.

Помнишь, порою ночною,
Наша гондола плыла...

Нет, не так, и, верно, цитата, как всегда, переврана... Гондольер делает еле заметное движение веслом, и гондола послушно сворачивает в узкий, темный канал. На каменном мостике стоит парочка; они молчат, смотрят на воду. Почему-то я вспоминаю в эту минуту о великом венецианском авантюристе Джакомо Казанове, — он первый заставил меня полюбить Венецию, ее каналы, площади, дворцы. Образ Казановы будет меня преследовать в Венеции неустанно, — под колоннадой на площади Св. Марка, на пиацетте, даже в страшной каменной тюрьме дворца Дожей, откуда Казанова все же умудрился бежать. Некоторые главы «Мемуаров» Казановы и его страх Совета Десяти я понял, только побывав в этой «приджиони», в каменных «колодцах», в которых держали пленников Венецианской Республики. В «колодцах» нижнего этажа, расположенного на уровне канала, сырость и темнота ужасающие. По сравнению с этой тюрьмой Бастилия была, вероятно, уютным пансионом, — государственным преступникам разрешалось обставлять камеры собственной мебелью, пищу им доставляли рестораторы фобура Сэнт-Антуан и можно было принимать посетителей. Не то было в венецианской «приджиони».

Гондола сделала большой круг и снова вышла на Каналэ Грандэ.

Откуда-то из темноты донеслась песнь, потом пение оборвалось и раздался женский смех. Жена, мечтавшая о серенадах, заволновалась:

— Почему наш гондольер не поет?

— Ты слышала его голос?

— Да. Голос пропойцы. Хриплый. Лучше пусть он молчит.

Гондольер наш и не собирался петь. Впрочем, серенаду мы всё же услышали. На вторую или третью ночь мы шли по набережной Скьявони и остановились на мостике, переброшенном через узкий канал. Перед нами был исторический Мост Вздохов, — названный так не в честь влюбленных, а потому, что через мост этот водили из соседней тюрьмы во Дворец Дожей государственных преступников. На одну какую-то секунду, через прорезы в каменных стенах моста видели они голубое небо и зеленую воду канала и, может быть, слышали веселые голоса праздничной толпы на набережной... Так вот, под этим Мостом Вздохов, стояли несколько гондол с фонариками. Мужской, очень красивый голос пел что-то о несчастных пленниках из «приджиони нуова», — певцу аплодировали люди в гондолах и те, что стояли на берегу.

Эта венецианская серенада была устроена компанией Кука для своих туристов.

Я часто думаю: что стало бы со многими обычаями итальянской старины без их верных блюстителей, — Кука и «Америкэн Экспресс Компани»?

***

В XVIII веке Венецианская Республика, накопившая много славы и богатств, медленно умирала. И, как всегда случается с обреченными режимами и на-

родами, Венеция лихорадочно старалась жить и наслаждаться. Карнавал продолжался чуть ли не шесть месяцев в году, — венецианцы не расставались с масками, появлялись в них на улицах, в гостях, в игорных домах, во дворце, на базаре. От этих былых великолепных празднеств остались лишь рассказы мемуаристов, да старинные гравюры, на которых изображена площадь Св. Марка в дни Карнавала, с живописными группами синьоров и синьорин в ярких шелковых плащах, домино, «бауттах», в маскарадных пестрых костюмах, с кружевными масками на лицах. Остались еще удивительные статуэтки в магазинах под колоннадой Прокураций, статуэтки из цветного стекла, изображающие героев Комедиа Дель Арте и венецианских Пьеро и Коломбин. К сожалению, не удалось побывать на стеклянных заводах Мурано, но мы всё же посетили небольшую фабрику в центре Венеции, где выделывают такие статуэтки. Мастера вытаскивали из печей металлические стержни с кусками мягкого цветного стекла, резали его ножницами и придавали щипцами нужную форму, потом снова отправляли в печь и снова подправляли фигурки. В соседнем доме видели мы фабрику венецианских кружев, — старухи в черных платьях, с наколками на головах, быстро, не глядя, перебирали шпульки и плели лучшие кружева в мире.

Но главное событие венецианской жизни — это выставка Джованни Беллини во Дворце Дожей. Любимейший из сыновей Венеции как никто выражает душу города каналов, и не даром одна из его наибо-

лее значительных символических вещей «Летейские воды», написана на фоне венецианской мраморной террасы и канала. Строги и задумчивы Мадонны Беллини, — нет в них ни итальянской, немного греховной красоты, ни чрезмерного опрощения, — Мадонны его внутренне сосредоточены, и в позе Богоматери, склонившейся над Младенцем, уже выражены тревога и скорбь... Но что же мне писать об этой удивительной выставке? Будет правильнее отослать читателя к «Образам Италии» П. Муратова. «Беллини не только здесь родился и вырос, но живопись его так расцвела здесь, что долго Венеция не хотела знать никакой другой, и десятки художников повторяли, списывали и даже подделывали ее. Беллини был понят и любим, и его искусство выражало чистейшую линию в душевном сложении Венеции».

***

Дни в Венеции проходят легко, радостно, незаметно. Часами можно сидеть в маленьком кафэ на набережной Скьявони, перед чашкой крепчайшего кофе и стаканом ледяной воды. У пристани покачиваются черные гондолы, ждущие американцев. Иногда в сторону далекой лагуны, поблескивающей на солнце, проходит пыхтя пассажирский «вапоретти» и издает страшные гудки. Я заметил, что чем меньше судно, тем громче оно гудит. У венецианских «вапоретти» гудки ничем не уступают «Квин Элизабет».

Нигде в мире я не видел такой праздной, такой

беспечной толпы, как в Венеции. Сюда приезжают люди, желающие быть счастливыми и влюбленными. Они кормят голубей на площади Св. Марка, бродят по церквам, выискивая Тинторетто и Тицианов, их можно встретить на пиацетте и в маленьких «тратториях», где подают розовое веронское вино.

Случайная прогулка привела нас по узким, средневековым улицам к церкви, у стены которой приютилась под открытым небом такая «траттория», и потом мы уж приходили сюда всякий день. Луиджи оказался славным трактирщиком, настоящим персонажем из комедии Гольдони... Внутренним, профессиональным чутьем он почувствовал во мне чревоугодника и ценителя итальянской кухни и решил показать себя подлинным венецианским патрицием. Не успевали мы сесть за стол, как Луиджи начинал тащить все чудеса своей кухни — какие-то фаршированные огненные перцы, баклажаны, помидоры во всех видах, «фрутти ди маре» с лагуны, телячьи котлеты по болонски... Сколько бы ни уничтожали пищи клиенты Луиджи, — цена всегда была одинакова, очень низкая, и нигде уж потом в Италии не ели мы так вкусно, как в траттории «Чита де Милано».

Пока мы знакомились с тайнами итальянской гастрономии, к столу нашему подходили люди с улицы, — нищие старухи, торговцы открытками, торговцы коралловыми ожерельями и муранскими бусами, какими-то музыкальными шкатулками... Каждые десять минут из за угла показывался человек в матросской куртке с синим воротником, в соломенной шляпе

с лентой, и небритым лицом разбойника. Человек подходил к столику и хрипло нас подгонял:

— Гу́ндола, гу́ндола, гу́ндола!

И в последний раз гондола отвезла нас по Каналэ Грандэ к вокзалу, мимо мертвых дворцов и романтических садов, мимо церквей и зеленоватых мраморных ступеней, спускающихся к лениво плещущейся воде.

Впереди были города Тосканы и Рим.

РИМ

Not that I loved Caesar less,
but that I loved Rome more.
Shakespeare, "Julius Caesar", III, 2.

К Риму всегда подъезжаешь с душевным волнением. Что же есть в этом городе особенное, делающее его таким близким и нужным каждому человеку? Великое прошлое, или своеобразный и неторопливый уклад его нынешней жизни, дворцы, живописные развалины, многоводные фонтаны на площадях, или просто улицы и народ, гордый и приветливый «пополо романо», равного которому нет во всей Италии?

Есть особое чувство Рима, — только постепенно оно охватывает путника. Гаспар Валет в своей книге «Отражения Рима» так определил это душевное состояние: «Очарование Рима не есть нечто мгновенное и внезапное. Оно не действует на приезжего сразу, не поражает его, как молния. Оно медленно, постепенно и неуклонно просачивается в его душу, мало по-малу входит в нее, проникает в нее всё больше и больше, захватывает и, наконец, поглощает на всю жизнь».

— Поезжай в Рим, — писал когда-то Шелли. Ты найдешь там одновременно рай и могилу, город и пустыню.

Пожалуй, нет лучшего определения сущности Рима. Всё здесь причудливо переплетается, — могилы и памятники прошлого и свидетельства того, что современный римлянин остается артистом и созидателем великолепного города, раскинувшегося на семи холмах. Несмотря на продолжающуюся жизнь, в этом городе никогда нельзя избавиться от чувства какой-то музейной тишины и заброшенности... В том, что римляне остались великими строителями, можно убедиться еще из окна вагона. Поезд, подходящий к Риму, в течение получаса пересекает предместья, сплошь застроенные домами современной конструкции, с традиционными итальянскими террасами и балконами, и это не квартиры для богатых людей, а для рабочего люда, среднего класса и интеллигенции.

***

В Рим мы приехали 15 августа, в день «ферагоста». Город, по случаю праздника, вымер, — жители выехали к морю, на соседние пляжи Остии, и безлюдные площади и улицы, залитые ярким солнцем, напоминали о римской «пустыне» Шелли. Только из храмов, где кончалась поздняя месса, выходили верующие и вслед им, из широко распахнутых церковных дверей, гремели органы.

Поезд наш уходил в Сицилию поздно вечером, впереди было несколько свободных часов. Мы реши-

ли объехать давно знакомые места, совершить паломничество — слишком короткое и поспешное, но как же остановиться в Риме и не побывать на пиацца Навонна или у Тревийского фонтана?

Из всех бесчисленных римских площадей, я больше других люблю пиаццу Навонну, — продолговатую, с обелиском и фонтанами, украшенными статуями четырех рек. Почему-то женская фигура, символизирующая Нил, закрывает глаза рукой. Долго я не мог понять причину, пока не вычитал объяснение, которое дают римляне этой аллегории:

— Нил закрывает глаза рукой, потому что не знает происхождения своих источников. Но в действительности Бернини просто не хотел, чтобы его статуя глядела на уродливый фасад соседней церкви и прикрыл ей глаза.

Когда-то на этой площади император Домициан устраивал олимпийские игры и состязания колесниц. Площадь в старину во время летней жары наполняли водой, превращая в гигантский бассейн для плаванья... Всё это — в далеком прошлом, но и теперь еще ребятишки из квартала Парцоне раздеваются и, тайком от карабинеров, залезают в раковины фонтанов Бернини, под потоки льющейся на них сверху прохладной воды и наслаждаются жизнью.

Форум заснул под палящими лучами солнца. Даже самые неутомимые туристы не решаются спуститься вниз в эти полуденные часы. Зато на площади Капитолия — прохладно, часть ее в тени, и только Марк Аврелий на бронзовом коне покорно стоит на

солнцепеке... Нет в мире площади, с которой было бы связано так много истории, как с Капитолием. Внизу, в самом конце лестницы, был когда-то лес Кампидолио. В этом лесу волчица выкармливала Ромула и Рема. Здесь проходил Цезарь и прогуливался с друзьями Цицерон... А вот пословица лжет: от Капитолия до Торпейской Скалы не «один шаг», а гораздо больше, — прогулка эта занимает несколько минут, и скала, свесившаяся над «пропастью» выглядит не так уж страшно: жертвы, сброшенные вниз, пролетали не больше двух десятков метров.

От жары Тибр совсем обмелел, стал скучным и мелководным, и какой-то непропорционально-громадной кажется теперь на его берегу крепость Св. Ангела, за стенами которой в трудные минуты укрывались папы. В прошлый приезд в Рим мы были внутри башни, поднялись на верхнюю террасу и видели мрачную тюремную камеру, в которой умер маг и искатель философского камня Калиостро... Автомобиль проезжает мимо не останавливаясь, и вывозит на площадь Св. Петра. Солнце слепит невыносимо, но под колоннадой Бернини — тень и продувает ветерок. Жители соседнего квартала отдыхают под колоннадой на принесенных с собой стульях и табуретах, — женщины вяжут, весело между собой болтая, а мужчины, уже успевшие позавтракать, клюют носом. Наступает блаженный час «сиесты».

Два босоногих монаха, с непокрытыми головами, пересекают площадь и идут к Бронзовым Воротам Ватикана. И здесь тишина. Стоит, опираясь на тяже-

лую аллебарду, солдат папской гвардии в своем ярком средневековом одеянии, — форма эта, сделанная когда-то по рисункам Микеланджело, не меняется уже пятое столетие. За Бронзовыми Воротами начинается другой мир. В Граде Ватикане вряд ли наберется тысяча жителей, но духовная власть папы распространяется на миллионы человеческих душ. Если отойти немного от Бронзовых Ворот и взглянуть наверх, на третьем этаже, справа, можно увидеть окна, за которыми живет Пий XII. Жаль, на этот раз не удастся побродить по Ватикану и посмотреть его вокзал без поездов, его почту, телефонную и электрическую станции, обслуживаемые монахами, редакцию и типографию «Оссерваторе Романо», — есть в Ватикане даже собственная тюрьма без узников.

Дальше, — мимо Колизея, мимо бесчисленных церквей, уличных фонтанов, мимо раскаленных от солнца лестниц Пьяцца Д'Эспанья. На Корсо закрыты все магазины. Закрыто на лето и кафэ Греко, — здесь сиживал за столиком Николай Васильевич Гоголь, обдумывая «Мертвые души».

***

Пора подумать о завтраке. Можно войти в одну из «остерий» с прохладными, сводчатыми залами, в которых всегда царит полумрак... Расторопный хозяин принесет блюдо с дымящимися макаронами, густо политыми томатным соусом и щедро посыпет их острым, натертым сыром «пекорино», — что же мо-

жет быть в мире вкуснее спагетти, запитых стаканом янтарного Фраскати?

— Нет, — говорят путешествующие с нами по Италии друзья, — если уж оскоромиться и есть макароны, так у Альфредо. Таких фетучини нет во всем Риме.

И вот мы сидим на террасе у Альфредо и три толстых неаполитанца — скрипач, мандолинист и гитарист, уже ходят между столиками, наигрывая какую-то живописную чепуху для туристов, вроде «О соле мио». И сам Альфредо с пышными вахмистрскими усами, которым мог бы позавидовать покойный король Умберто, хриплым голосом отдает свирепые приказания, умиленно прижимает руку к сердцу и всячески изображает из себя гостеприимного хозяина. Конечно, — синьоры начнут с фетучини, это — спечиалита, гордость Альфредо, и это будет заправлено им самим, при помощи золотой ложки и вилки, подаренных ему Мэри Пикфорд и Дугласом Фэрбанксом... Для супа сегодня слишком жарко, но зато филетти ди солиола ал вино бианко — совершенно бесподобные... Дальше синьоры решат сами: куриная грудинка с ветчиной и сыром, в марсале, или... Что было дальше мы не слышали, потому что лакеи внесли на подносе громадное блюдо фетучини, — широко нарезанной, тончайшей лапши, за которую принялся Альфредо.

Нельзя было не залюбоваться им в эту минуту. Казалось, вдохновение подлинного артиста снизошло на него, — он подбавлял в фетучини масло, щед-

ро сыпал пармезан, а затем, быстрыми и точными движениями перемешивал всё, фонтаном поднимал фетучини кверху, снова бережно опускал их на горячее блюдо и морил дальше, разложил порции, сам подал и, став в позу римского императора, громко и гордо сказал:

— Фетучини ориджинале Альфредо!

И было в нем в эту минуту столько настоящего удовлетворения и даже благородства, что отведав действительно изумительно приготовленное блюдо, мы не выдержали и, по итальянски, особенно четко выговаривая «р», закричали:

— Бра́во! Бра́во!

Артист сыграл свою роль, сорвал аплодисменты и скромно удалился за кулисы. Больше мы уж его не видели до тех пор, пока не собрались уходить и он пришел проститься, прося расписаться в книге гостей.

Пока мы ели и пили, прошло несколько часов. Уже начала спадать жара, подул с холмов ветерок «полленца» и мы отправились пешком по всё еще пустынным и сонным улицам в сторону нового вокзала, сделанного из аллюминия и стекла. Архитектор очень умно включил в свою постройку остатки старинной стены, проходившей в этом месте. Так, в новом римском вокзале причудливо сочетаются достижения современной Италии с ее великим прошлым.

Можно ли расстаться с Римом и не побывать у фонтана Треви, не испить хрустальной воды из источника «Аква Вирджиния»? Мы выпили воды, посмотрели на бронзовых тритонов, трубящих в рако-

вины и бросили несколько мелких монет в фонтан, — залог вечной любви и обещание вернуться когда-нибудь в Рим.

**
*

В пламенеющем закате поезд уносит нас по пустынной и торжественной Кампанье в сторону Неаполя, Мессины, Сицилии.

Здесь уже сильно чувствуется юг, его беднота и суровая, библейская красота. По склонам голых холмов спускаются террасы, сложенные из камня, с низкорослыми оливковыми деревьями, мелькают совсем черные, прямые и одинокие кипарисы, вдоль пути гигантские кактусы, а на станциях белые и красные олеандры во всем цвету растут уже не в кадках, а прямо в земле.

Между Римом и Неаполем поезд останавливается часто, и на каждой станции толпы людей штурмом берут и без того переполненные вагоны. Люди сидят в купэ, в коридорах, во всех проходах, везде чемоданы, узлы, какие-то клети с курами, корзины с помидорами и кукурузой, и над всем этим царит веселый, бодрый шум, — все уже знакомы между собой и все оживленно разговаривают, перекидываясь шутками... «Скузи!», — в купэ втискивается еще один пассажир, вытирающий пот цветным, в клетку, платком. Каким-то чудом и для него находится место.

По перрону снуют черноволосые «факини» — носильщики. Мальчишки катят коляски с сандвичами,

фруктами, бутылками кьянти и выкрикивают на разные голоса:

— Джелатти! Аква минерале...

Жара нестерпимая, всех мучит жажда, и мы пьем эту акву до бесконечности, в особенности холодную «Пилигриммо», чем-то напоминающую наш кавказский «Боржом», и все смотрим в окна, на пальмы, олеандры, уже темные на фоне медленно блекнущего заката. И вдруг, сразу, на повороте, открывается неаполитанская бухта с далеким Капри, и на несколько мгновений показывается расположенная вблизи вокзала Порта Капуана с ее тяжелыми башнями. Но Везувий виден всё время, и вид его изумляет и разочаровывает: куда девался столб дыма и огня у кратера, который я видел лет тридцать назад, в первый мой приезд в Неаполь?

Мы тогда поднимались на самую вершину вулкана, видели на дне кратера огонь, дымящуюся лаву, облака дыма и пара, всё кипело и клокотало внутри, а теперь — ни облачка, ни огненного зарева...

— Везувий больше не дымится, — сказал мне итальянец-проводник, говоривший по английски и по французски. Он потух девять лет назад. Что будет с Неаполем без Везувия? Туристы больше не приезжают... И это страшно: когда вулкан молчит, неаполитанцы не знают, что он им готовит. С прошлого года температура на восточном склоне стала повышаться, она поднялась с 400 до 670 градусов. Есть и другие признаки приближающегося извержения: начались оползни... Синьор, неаполитанцам нужен дым над Ве-

зувием, но не настоящее извержение, — спаси нас Мадонна и Бамбино!

Поезд начинает двигаться. Медленно проплывают фасады желтых, розовых и серых домов, узкие и темные улочки с бельем, развешенным на веревках. На террасах и балконах сидят неаполитанцы, вышедшие подышать свежим воздухом после душного августовского дня. Наступает ночь, город оживает.

Снова поезд идет берегом залива. Вдали рассыпаны огни Капри. Где-то в стороне, в быстро наступающей темноте, остается мертвая Помпея. Как быстро кончается наш «Вечер в Сорренто»! Поезд останавливается здесь всего на пять минут, и снова стучат колеса. В последний раз, перед сном, выглянув в окно, я вижу ярко освещенную платформу. Что это — Салерно? Ну, конечно, высадка американцев, кровавые бои, во время которых всё вокруг было разрушено и всё уже восстановили трудолюбивые итальянские руки.

Я засыпаю и сквозь сон слышу, как мальчишка пронзительно кричит у окна купэ:

— Джелатти! Аква минерале...

ТАОРМИНА

В четыре утра стук в дверь и голос проводника:

— Поезд подошел к Реджио Калабриа. Если синьор хочет полюбоваться Мессинским проливом, нужно выйти!

Поспешно натягиваем пальто прямо на пижамы и выходим из поезда, уже стоящего на ферриботе. По крутым лестницам поднимаемся на верхнюю палубу, где толпятся полуодетые люди с заспанными, помятыми лицами. Все смотрят в сторону Реджио Калабриа, оконечность «итальянского сапога», который мы сейчас покинем. В самое страшное землетрясение 1908 года, когда была разрушена Мессина по ту сторону пролива, от Реджио тоже не осталось камня на камне. В тридцать две секунды «терамоти», седьмая часть населения города погибла под развалинами, а затем море хлынуло на берег и затопило всё и всех... Здесь, на юге Италии и, в особенности, в Сицилии, на каждом шагу встречаешь следы былых катаклизмов. Местная хронология так и ведется по катастрофам, — 1905, 1907, 1908 год, и в Катании, на памятнике, можно видеть надпись о том, что город восемь раз был разрушен и восемь раз восстановлен.

Еще ночь, синяя и прозрачная, горят яркие звезды, но на востоке уже бледнеет небо, — близится рассвет. Пароход быстро скользит по зеркальной поверхности пролива. Где же Сцилла и Харибда, сторожившие во времена Гомера мессинский пролив? Двенадцатиногая Сцилла, проглотившая шестерых спутников Одиссея, на этот раз не показалась, и на мессинском берегу встретила нас, вместо грозной Харибды, гигантская статуя Мадонны, благословляющая путников.

Рядом со мной на палубе стоял молодой сицилианец с тонким, смуглым лицом. Не знаю, долго ли он был в отсутствии из дому, но юноша явно волновался и всё показывал рукой на быстро приближавшуюся, ярко освещенную набережную Мессины, на какие-то «монюменти» и на Мадонну, покровительницу города:

— Мадонна манифика! — сказал он.

И в голосе его столько гордости, что нельзя не согласиться, — манифика! Он говорит по-итальянски, мы отвечаем по-французски, и как-то друг друга понимаем. Правда ли, что в Нью-Йорке больше сицилианцев, чем во всей Сицилии? Он тоже хочет уехать в Америку, разбогатеть и выписать туда свою невесту, живущую с родителями в Палермо... Вся беда в том, что очень трудно получить американскую визу.

Я не стал его разочаровывать. Много сицилианцев в Нью Йорке, но не такие уж они богатые. Позже, побывав в Сицилии, я понял эту всеобщую тягу в Новый Свет. Бедно, убого живут сицилианцы, так

бедно, что последний чистильщик сапог на нью-йоркской улице кажется им миллионером. Видел я людей, не имеющих крова над головой, — зиму и лето живут они в пещерах и каменоломнях, как какие-то троглодиты. Чего уж Сицилия, — даже в Риме можно увидеть детей, спящих на улицах и в подворотнях домов. А в горных сицилианских деревушках есть семьи, где на десяток ртов — только два добытчика, — отец, да старший сын, и хорошо еще, если они имеют работу.

Часто я задумывался над вопросом, — откуда пошла и почему так прочно привилась нелепая легенда об итальянской лени? Не потому ли, что для многих итальянцев попросту нехватает работы? Тот, кто видел итальянского крестьянина в поле или на винограднике, кто наблюдал, как с рассвета до темноты работают на постройках итальянские каменщики, не разгибающие спины, или как рабочие с обнаженными торсами дробят камни на шоссейных дорогах — тот никогда уж не скажет ни слова об «итальянской лени».

***

От Мессины до Таормины, конечной цели нашего путешествия, поезд идет берегом Ионического моря. Сицилия сразу раскрывает всю свою особенную, экзотическую красоту.

Мы на острове, природа которого гораздо ближе к Африке, чем к Европе. С одной стороны — бурые

скалы и внизу необыкновенной чистоты и прозрачности изумрудное море; с другой — бесконечные рощи апельсинов, зеленые виноградники, террасы с оливковыми деревьями, спускающиеся по склонам каменистых холмов. Всё это свидетельствует об упорном труде, — каждую горсть земли крестьяне приносили на эти холмы в корзинах, по крутым тропинкам, проложенным здесь, быть может, еще две тысячи лет назад, во времена греческого владычества. Виноградники сменяются пальмовыми рощами, мелькают в окне вагона цветущие желтым цветом кактусы, ростом с дерево, а потом — хаос африканских джунглей, широколиственные банановые деревья, какие-то заросли, лианы и странные, никогда невиданные цветы. Удивительно просто и хорошо сказал о Сицилии Бунин:

...Валы и рвы, от плесени седые,
Под башнями кустарники густые
И глыбы скользких пепельных камней,
Загромоздивших скаты побережий,
Где сквозь маслины кажется синей
Вода у скал, где крепко треплет свежий,
Соленый ветер листьями маслин
И на ветру благоухает тмин!

Чем дальше к югу, тем выше и темнее кипарисы, тем шире раскидывают пинии свои зеленые зонты. И вдруг, внезапно, непонятно почему, эти эдемские сады кончаются, и куда хватает глаз, — белый камень, холмы с выжженной, порыжевшей травой, — печальный и торжественный пейзаж древней Эллады... Нигде античная Греция не чувствуется с такой силой,

как в Сицилии, бывшей на заре истории первой, самой могучей и самой богатой греческой колонией. Сицилия — земля легенд и языческих богов. Здесь грохотали, извергая огонь и лаву, дьявольские кузницы Вулкана; здесь Плутон увлек в подземелье беззащитную Прозерпину; в этих рощах гигант Полифем преследовал своей любовью юную Галатею.

После победы над Карфагеном греческая культура в Сицилии достигла своего наивысшего расцвета, — сюда устремились поэты, философы, зодчие. Остров покрылся великолепными мраморными храмами, дворцами, амфитеатрами, — все эти памятники греческой культуры пережили нашествия римлян, варваров, арабское владычество, и многое сохранилось до наших дней... Даже тип людей в Сицилии особенный, смешанный, сохранивший расовые признаки всех завоевателей, — европейских, африканских и азиатских. На побережьи, от Мессины до Сиракуз, целые деревни сохраняют греческий тип, а в городах можно встретить сицилианцев-блондинов, потомков пришельцев — норманов. И уже верно в каждом сицилианце можно найти не мало арабской крови, — не отсюда ли все эти заунывные, восточные мелодии, которые часто слышишь в Сицилии, и любовь к ярким краскам, и пестро разукрашенные повозки, и красочная сбруя мулов и осликов?

Но вся эта греческая и африканская сущность Сицилии станет ясна не сразу, а постепенно, по мере посещения городов и деревень. А пока путешественник сидит у окна вагона, как зачарованный и, не

отрываясь, смотрит на быстро меняющиеся перед ним картины.

Вот идет по дороге серый ослик с перекидными корзинами, доверху нагруженными овощами; на спине сидит босоногий, черномазый мальчуган. Братишка его плетется сзади и держится за хвост ослика, а еще дальше идет мать, вся в черном, с круглой корзиной на голове. Идет прямо, не сгибаясь, и сколько свободной грации и красоты во всей ее фигуре и в каждом движении! Низкорослые мулы и ослики в горах Сицилии являются главным, и едва ли не единственно возможным способом транспорта и гужевой силой. Они легко взбираются по лестницам, по скалистым тропинкам, на них едут в поле, на виноградник, в гости, — их украшают султанами из ярких перьев, венками из бумажных цветов, и когда видишь на пустынной дороге библейскую картину — ослика, на спине которого сидит женщина в черном, держащая на руках младенца, — как не вспомнить о бегстве в Египет? К слову сказать, сицилианцы убеждены, что Богоматерь бежала с младенцем от Ирода не в Египет, а в Сицилию, и около Таормины показывают пещеру, где Она остановилась на ночлег...

Пышность садов как-то не соответствует убогости человеческих жилищ. Дома в городах старые, облупленные, покосившиеся, но зато на балконе у самого бедного человека — кадки и горшки с цветами, целые висячие сады из глициний, разросшихся в человеческий рост кустов герани, вакханалия плюща и ползучих роз. А в деревнях дома попросту сложены

из местного камня, и уж окон в них нет никогда: хватит и одного прореза для двери, который завешен тряпкой или тростниковой цыновкой. Отопления, конечно, нет никакого, — благо зима не очень холодная; живут при лучине или керосиновой лампе, воду приносят из городского фонтана, иногда Бог знает откуда, на спине, в медных плоских бидонах.

Сколько старух в черном! Либо сидят они на стульях, перед своими жилищами, повернувшись спиной к улице, и занимаются вышиваньем, либо несут на головах корзины с тяжелой ношей или глиняные амфоры со свежей водой. А старики отдыхают на скамье, на пьяцце, в тени деревьев, или около церкви. Перекидываются изредка словами, — всё давно уже друг другу известно и всё рассказано.

**
*

Поезд останавливается в Таормине, где когда-то любил проводить зимние месяцы Вильгельм II. В несколько минут «Фиат» поднимает нас на вершину горы. Здесь расположен старинный городок и отель Сан Доменико, обращенный фасадом к удивительной по красоте бухте.

Представьте себе небо глубочайшей синевы и, куда хватает глаз, лазурное море. Справа четко вырисовывается Этна с дымящимся кратером вулкана. Есть дни, даже в августе, когда вершина Этны покрыта снегом, сверкающим под солнцем. А внизу, у подножья вулкана, раскинулась одна из плодород-

нейших долин в мире, — гигантский сад, в котором собраны причудливые цветы и деревья, где всё благоухает и блещет яркими красками.

В XII веке здесь был монастырь Св. Доменика. Постепенно он разрушался и, в конце концов, был переделан в отель, сохранивший в своих стенах средневековую монастырскую архитектуру. Громадные сводчатые коридоры, вдоль которых развешены картины старинных мастеров на религиозные темы, мраморные статуи, глиняные амфоры с цветами. Над каждым апартаментом проставлены не прозаичные номера, а церковные названия: «Агнус Деи», «Санта Агата», «Санта Лючия»... Посреди коридора — бывшая монашеская келья, переделанная в часовню. Дверь открыта день и ночь. Перед деревянной статуей Мадонны горят лампады и стоят букеты цветов... От древнего монастыря остался еще клуатр, — двор, окруженный колоннадой, превращенный в зимний сад, да по соседству церковь Св. Доменика, разбитая бомбардировкой во время последней войны.

Долго в этот первый день мы бродили по парку отеля, террасы которого спускаются вниз, по склонам горы. Нигде я не видел таких цитрусовых деревьев, как в Таормине, и таких великолепных цветов, как в этом саду. Несколько дней спустя мы познакомились со стариком садовником и он сказал, что летом сад выглядит плохо, всё сгорает от солнца и цветов мало:

— А вы приезжайте к нам в январе или в феврале. Вот когда вы увидите настоящие цветы. У нас

зимы нет, — снег лежит только на Этне, а весна начинается в феврале, когда зацветает миндаль... Будете гулять в саду и срывать с деревьев апельсины.

До зимы еще далеко, а пока солнце палит невыносимо и горячий воздух струится вдоль гор и спускается вниз, к берегу моря. Но жара особенная, сухая, не утомительная, и как только зайдет солнце она исчезает, — с гор потянет прохладным ветерком, а ночью нужно будет одеяло.

Солнце скрывается за Этной очень рано, быстро наступает ночь. Из сада пахнет влажной, только что политой землей, зеленью и цветами. Над Ионическим морем поднимается большая, зеленоватая луна, проливает странный, фантастический свет на развалины римского амфитеатра на горе... Хочется сидеть на балконе всю ночь, смотреть на это море, по которому тысячелетия назад плыл Одиссей, на горы, где жили Музы Виргилия, вдыхать прохладный воздух... Но всех клонит ко сну, — сказались две ночи в поезде, усталость дорожная, бесконечный день.

Мы ложимся, быстро засыпаем, и мне кажется, что в ту же минуту я слышу странную, нежную, ласкающую слух музыку... Я открываю глаза, смотрю на часы: полночь. Спал я не больше часа. Музыка не исчезает, а становится всё громче и громче, она раздается в саду, прямо под нашими окнами... Что же это? Встаю с постели, выхожу на балкон. Внизу, на террасе, пятеро музыкантов дают полуночную серенаду в честь наших дам, — особое внимание директора отеля.

Возвращаюсь в спальню и бужу жену:

— Проснись скорее, нужно выйти на балкон... Серенада!

В ответ слышу несколько слов, чрезвычайно нелестных для моего самолюбия.

— Серенада... Вставай, надо выйти!

— Не калечь меня, — говорит жена. — Какая серенада?! Умоляю, дай спать!

Но она уже не спит, невольно прислушивается к звону гитар и мандолин и с покорным вздохом встает и выходит наружу. А на соседнем балконе стоят наши друзья, улыбаются в темноте музыкантам, играющим «Сицилианскую тарантеллу» и благодарят:

— Грациа... грациа...

Музыканты тихо перебирают струны и потом начинают под сурдинку «Пастораль». Сон окончательно прошел, и жена уже не жалуется, что я калечу ее жизнь, а с улыбкой слушает серенаду... Цикады в саду устали от пения и умолкли, луна стоит теперь высоко, горы залиты ярким, голубым светом и море — потоки расплавленного серебра... Какая ночь!

СИЦИЛИАНСКИЕ БУДНИ

НА рассвете будит пение, доносящееся откуда-то издалека. Выхожу на балкон. Солнце недавно встало, море еще по утреннему бледно-молочного цвета, и особенно четко вырисовывается Этна с клубами дыма над кратером.

Снизу, по крутой тропинке, поднимаются в гору два человека. На спине у них бидоны с водой и, чтобы облегчить подъем и скоротать время, поют они что-то заунывное, какой-то восточный мотив, сохранившийся тысячелетие, со времен арабского владычества над Сицилией. Эти два «аквауоло», — так называют здесь водоносов, — целый час поднимающиеся в гору со своей тяжелой ношей за спиной — символ обездоленной, безводной Сицилии. Счастлив крестьянин, имеющий свой колодезь. Но если виноградник его и дом расположены высоко на горе, а воды поблизости нет, нужно идти Бог весть куда, к фонтану, чтобы принести бидон с драгоценной аквой... Таких водоносов в горах встречаешь не мало, и эти двое станут меня будить своей песней каждый день, на рассвете, и я буду выходить на балкон, словно у нас заранее условлено было свидание. Проходя ми-

мо, они на мгновение прерывают пение, делают приветственный жест рукой и говорят:

— Бонджорно!

И через минуту водоносы скрываются за поворотом тропинки. Только песнь долго еще доносится до меня.

***

За отелем Сан Доменико расположена площадь с фонтаном и старинным собором «Дуомо», а дальше начинается узкая и длинная улица, закрытая с двух сторон средневековыми башнями. Это — торговый центр Таормины, и здесь с утра до ночи снуют туристы и местные жители, отправляющиеся за покупками.

Таормина славится своими вышивками, скатертями, блузками, но так уж повелось, что торговцы запрашивают втридорога, а туристы торгуются, стараясь сбить цены. Чудесная скатерть, над которой не мало часов просидели местные вышивальщицы, раскинута на прилавке. Продавец с жаром расхваливает свой товар на фантастической помеси итальянского, французского и английского языков:

— Лаворе фино... Мане... Квесто: чинкванта милле....

— Дорого!

На лице торговца — глубочайшее огорчение. Мгновение спустя на прилавке разбрасывается другая скатерть. И опять:

— Лаворе фино... Мане... Вери гуд. Квесто: куаранте милле...

В конце концов вы уходите из магазина со скатертью, с сицилианскими шапочками и другим очаровательными и ненужными безделушками.

Зашел я как-то в магазин «античных» вещей, увидев в окне терракотовую статуэтку фавна с отбитой ногой.

— Куанто? — спросил я, показав на статуэтку.

— Дуэ миллэ чинкваченто, ответил он.

И, подумав немного, добавил:

— Антика ориджинале...

Тут меня разобрал смех: 2.500 лир (около 4 долларов) за «настоящую» античную статуэтку! Торговец говорил по-французски, и когда я сказал, что он должен побояться Бога, — такая настоящая статуэтка стоит 200 или 300 тысяч лир, — смущенно улыбнулся и, уже с видом сообщника, сказал:

— Это, конечно, подделка, синьор. Но это — очень хорошая подделка. Так сказать, подделка ориджинале...

В конце концов, одноногий фавн перешел в мою собственность.

Таормина живет туристами и местное население привыкло разговаривать с ними на каком-то красочном волапюке, но сговориться можно... Как не вспомнить здесь, что писал по этому поводу еще Гоголь? Любознательный Анучкин в «Женитьбе» расспрашивает видавшего виды Жевакина:

«— А как, — позвольте еще вам сделать вопрос,

— на каком языке изъясняются в Сицилии?

— А натурально все на французском.

— И решительно все барышни говорят по-французски?

— Все-с решительно. Вы даже, может быть, не поверите тому, что я вам доложу: мы жили тридцать четыре дня, и во всё это время ни одного слова я не слыхал от них по-русски... возьмите нарочно тамошнего простого мужика, который перетаскивает на шее всякую дрянь, попробуйте, скажите ему: «Дай, братец, хлеба» — не поймет, ей-Богу не поймет; а скажи по-французски: «Dateci del pano» или «portate vino!» — поймет, побежит, и точно принесет».

Впрочем, очень быстро мы убедились, что сицилианцы понимают в случае нужды, даже по-русски. Как-то в траттории приятель мой подмигнул служащему и, совершенно по-гоголевски, сказал:

— А ну-ка, братец, убери грязную тарелку.

Расторопный малый мгновенно сообразил, что от него требуют, ринулся к столу, и грязная тарелка, к нашему великому восхищению, немедленно исчезла. Был у меня другой опыт с итальянцем, «понимавшим» по русски, но уже в Нью-Йорке. Мы обедали как-то в итальянском ресторане, где играл крошечный оркестр. Узнав, что обедает русская компания, музыканты заиграли «Очи черные, очи страстные». И хозяин, суетившийся у стола, вдруг сделал томное лицо, по оперному закатил глаза и, обращаясь к моей жене, сказал с тремоло в голосе:

— Очи страцция...

***

Много часов провели мы, разгуливая по узким улицам Таормины. Взбирались по лестницам, заходили в прохладные храмы, отдыхали на террасах кафэ за чашечкой крепчайшего «эспрессо» или порцией сицилианской «кассаты», — мороженного, вкус которого до сих пор тревожит мой покой.

На итальянской улице всегда есть на что посмотреть. Проезжает повозка фруктовщика, артистически разложившего арбузы, желтые дыни, корзины с виноградом, свежими фигами, зелеными перцами и ярко-красными помидорами. Из окна третьего этажа раздается крик, и толстая матрона, высунувшись наружу, что-то спрашивает у торговца. Затем спускается на веревке корзина с лежащей на дне ее сотней лир. Зеленщик отбирает помидоры, хозяйка сверху командует, бракует, жестикулирует, торговец тоже волнуется и, наконец, корзина с помидорами поднимается наверх, — синьора побывала на базаре. На смену зеленщику через минуту покажется в улочке человек бандитского типа, полуголый, давно не бритый, мрачный и ожесточенный. В корзинах у него рыба, пойманная прошлой ночью в бухте. Из нашего окна вижу по ночам рыбачьи лодки с ярким светом на корме. Рыба плывет на свет и они берут ее в сети, а что покрупнее — бьют острогой. Поймать рыбу — задача не трудная, а вот продать ее таорминской хозяйке будет не легко. Тут уж торг идет не из окна. Синьора спускается на улицу, лично перебирает рыбу, открывает жабры, нюхает, безбожно торгуется, и рыбак в

гневе уходит, потом возвращается, и спор продолжается... Среди уличных торговцев очень быстро появился у меня знакомый — старый Гвидо, который в самые жаркие часы устраивался в тени деревьев, у входа в отель Сан Доменико. Гвидо снабжает туристов сувенирами, открытками, но, верно, никогда бы ничего не продал без помощи Торридо.

Торридо — это маленький ослик, по сицилиански украшенный ярким султаном и цветами. Его вечно заедают мухи. Стоит он с понурым видом, запряженный в свою тачку. Так как каждому хочется познакомиться с Торридо, приласкать и дать ему кусок сахару, — приходится покупать у Гвидо заодно его открытки. Гвидо приветлив с туристами, суров с Торридо, и, всякий раз, когда ослик дергает тележку и хочет стать в тень, старик бормочет сквозь зубы:

— Бестия инграта... Каналья!

***

Современная Италия, — это не только солнце, цветы, живописные люди и чудесные пейзажи. Это — разрушенные здания, тяжелые и еще не зажившие раны войны.

Однажды, возвращаясь в отель, я прошел боковой улочкой и набрел на церковь св. Доменика. В отеле нашем во время германской оккупации помещался штаб генерала Кессерлинга. Американцы избрали его своей мишенью. Кессерлинг остался жив, но в небольшой Таормине, к несчастью, погибли от

бомбардировок четыреста жителей. Было разрушено не мало домов и, среди них, самая старая и красивая церковь Сан Доменико.

Уцелел только главный алтарь, а своды и стены рухнули. Теперь между цветными мраморными плитами из земли выросли целые деревья. Разбиты старые могилы у боковых приделов, лежат на земле рухнувшие колонны и осколки изуродованных статуй святых и всё это постепенно зарастает одичавшим бугенвилем, красными и фиолетовыми цветами Сицилии.

Среди развалин ходил старик в какой-то рваной накидке. Он взял меня за руку, подвел к алтарю с обезглавленными статуями, пытался что-то объяснить, но я не понимал его сицилианского наречия и лишь догадывался, что он рассказывает, как красив был когда-то этот храм, и как жаль, что до сих пор его не реставрировали.

Удивительная вещь: четыреста человек погибли в этом городке от американских бомбардировок, до сих пор еще носят женщины траур по погибшим, а со стороны местных жителей американцы не чувствуют ни малейшей неприязни или злобы. Все поняли, что так было нужно и приняли свое несчастье покорно и с достоинством. Может быть, помогло и другое: слишком много было в истории Сицилии нашествий, войн и разрушений, слишком хорошо знают сицилианцы свою историю. Время сделало их философами: могилы зарастают травой, дома восстанавливаются, жизнь продолжается.

**
*

Внизу, у подножья Таормины, расположен пляж и крошечная бухта Мацарола, со всех сторон закрытая скалами от ветров. На берегу видны развалины крепости, защищавшей в греческие времена вход в бухту Прямо в лодке туристы въезжают внутрь башни, под камнями которой мальчишки ловят крабов и морских коньков.

Зеленая, необычайно прозрачная вода лениво набегает на гальку. Здесь, рядом, Африка, но никогда не жарко, — весь день с моря дует прохладный ветерок. Купальщики лежат в креслах, под цветными зонтиками, смотрят на море, на бурые скалы с пиниями и оливковыми рощами, или просто дремлют. В самом конце пляжа спят под баркасами или чинят сети рыбаки. Всю ночь они провели в море и на рассвете вернулись с уловом «скампи», какой-то красной рыбой и с «фрутти ди маре», — устрицами и морскими ежами.

Каждый день по пляжу, по раскаленным камням, проходит босоногий рыбак Марио. В руке у него корзина, прикрытая сверху водорослями и мокрой парусиной. Время от времени, завидев клиента, Марио присаживается на корточки, бросает короткое «бонджорно» и показывает свой товар.

Нет ничего вкуснее его «фрутти ди маре». Марио — тонкий психолог и даже не спрашивает, хочу ли я их отведать. Из кармана он извлекает ложечку, трет ее песком и промывает в морской воде, затем ловко вскрывает ножем колючего ежика и протягивает мне

угощение. Крошечные моллюски пахнут иодом, свежестью моря, я начинаю их глотать с наслаждением, и скоро дюжина раскрытых ежиков бесславно кончает свое существование.

— Кванте?

— Дуочента лира, запрашивает Марио.

Я знаю, что итальянец даст ему за дюжину ежиков не двести, а всего пятьдесят лир и Марио запросил на всякий случай, чтобы потом всласть поторговаться. Но так хороши его ежики и так красочен сам Марио в разорванной рубахе, с необычайно загорелым рыбачьим лицом, что я протягиваю ему две сотенные бумажки. Марио берет, благодарит, но его, видимо, мучает совесть. Порывшись в корзине он извлекает веточку красных кораллов и сухую морскую звезду и дает все эти сокровища в виде бесплатного приложенеия.

Солнце поднимается всё выше и начинает сильно жечь. Я впадаю в дремоту и вдруг меня будит голос всё того же Марио, подъехавшего к берегу на своей лодке. Решив, что он имеет дело с американским миллионером, рыбак задумал покатать меня по морю:

— Гротти, говорит он. Визитати гротти!.. Коралли...

Мне хочется в грот с голубой водой, с красными и желтыми кораллами на дне, но сейчас слишком жарко, и пока доберешься туда в открытой лодке, можно получить солнечный удар. Я благодарю, отказываюсь, но Марио долго стоит у берега и укоризненно повторяет свое «Гротти, визитати гротти...».

ЭТНА

Мы выехали из Таормины пораньше, чтобы добраться до вершины Этны засветло. Дорога идет сначала среди садов и виноградников, но постепенно пейзаж меняется. Чем выше в гору, тем меньше зелени и суровее природа. Больше нет апельсиновых и лимонных рощ, исчезают даже оливковые деревья, — голая земля, камень, скудные пастбища. И внезапно, за поворотом дороги, открывается пейзаж дантовского ада: всё вокруг черно, земля, скалы, какой-то первобытный хаос и нагромождение. Шофер замедляет ход машины, протягивает руку в сторону этой черной пустыни и говорит:

— Лава!

Потом, в течение доброго часа, машина поднимается среди застывших потоков былых извержений. Время от времени видны группы рабочих, разбивающих лаву кирками и молотами, — это строительный материал, из которого на десятки миль вокруг сооружают дома, складывают террасы висячих садов, даже мостят им дороги. Из лавы, перемолотой в порошок, добывают великолепное удобрение, высоко ценимое садоводами Сицилии.

Но какой это подавляющий, мрачный пейзаж! Постепенно разговоры в машине затихают, — мы молча смотрим на этот хаос, извергнутый из недр земли. Этна остается действующим вулканом, — еще два года назад огненные потоки уничтожили несколько деревень. Что заставляет людей возвращаться в это опасное место, на старое пепелище? С незапамятных времен города и деревни у подножья и по склонам Этны разрушались землетрясениями и заливались потоками лавы, а через несколько лет, когда затвердевала кора, люди возвращались и отстраивали всё заново. И места здесь бедные. Но всего в часе езды есть плодородная земля, отличная вода для питья и орошения, — а вот не уходят крестьяне Этны на новые поселения и после каждой катастрофы упорно берутся за кирки и лопаты и отстраивают старое жилище. Как не преклониться перед этим человеческим упрямством и привязанностью к родной земле, — грозной, убогой, но всё же своей — испокон веков?

Мы продолжаем подъем и скоро исчезает солнце, вершина горы затягивается тучами. Начинает моросить мелкий, холодный дождь. Кончается шоссейная дорога, — дальше ехать нельзя. Но альпинисты с опытными проводниками, знающие все склоны вулкана и опасные места, могут подняться почти к самому кратеру. К услугам их в конце дороги небольшая гостиница типа швейцарского горного «шалэ», где можно переночевать и нанять гида. Несколько человек, приехавших до нас в автобусе, с мешками за спиной и полным снаряжением альпинистов, тяжелым

шагом направляются к гостинице. Они начнут подъем завтра на рассвете.

В стороне от дороги стоит часовня, сложенная из необтесанных камней. Перед статуей Мадонны горит лампада и вянут букеты цветов.

Мадонна охраняет жителей долины от извержений.

Мы долго стоим у часовни. Дождь всё еще моросит, но облака на несколько мгновений разрываются и мы видим радугу и вершину вулкана, над которой клубящийся пар и дым поднимаются к небу фантастическим грибом, словно от взрыва атомной бомбы.

Возвращаясь к машине, подбираем на память несколько тяжелых кусков лавы, похожей на шлак из доменных печей. Лава эта затем бережно укладывается в чемодан, где лежат всевозможные «сувениры». Но при каждой перепаковке чемодана один кусок таинственно и бесследно исчезает. Так с аэростатов когда-то сбрасывали постепенно мешки с балластом, чтобы немного облегчить вес воздушного шара и лететь дальше... В конце концов, до Нью Йорка я довез один-единственный кусок лавы.



После мрачной экскурсии на Этну особенно радостно было поехать в Кастельмоло, крошечный городок, расположенный над Таорминой, на самой вершине горы. Когда-то здесь была крепость, от нее остались только развалины, но даже в последнюю войну крепость сыграла свою роль: три немецких сол-

дата залегли в развалинах с пулеметами и несколько часов задерживали наступление английской части, — пока стрелков не перебили... Под стенами крепости теснятся прижавшиеся друг к другу домишки без окон, с одним прорезом для дверей. Улиц, собственно, нет, а больше лестницы, узкие проходы между домами, напоминающие осушенные венецианские каналы, а наверху, над протянутыми веревками с бельем — безупречная синева сицилианского неба.

Главная достопримечательность Кастельмоло это, конечно, не крепость и не старинная церковь, а кафэ и лавка «сувениров» синьора Бландано. У синьора Бландано имеется книга для гостей, в которой собраны сто тысяч автографов и мудрых изречений туристов. Кроме того, на крыше кафэ устроена терраса, откуда открывается, действительно, замечательный вид на всё побережье.

Терраса эта однажды сыграла с синьором Бландано дурную шутку. В Таормину на своей яхте прибыл миллионер Вандербильт. В городке узнали, что вечером он приедет в Кастельмоло любоваться солнечным закатом.

Сицилианцы обладают пылким воображением. Кто-то пустил слух, что солнечный закат — это только предлог; в действительности, Вандербильд собирается «дать городу воду». До недавнего времени в Кастельмоло не было ни одного колодца или фонтана, и воду привозили издалека на осликах. Мэр в срочном порядке созвал городской оркестр; аббат, настоятель местной церкви, надел новую сутану. Пло-

щадку перед кафэ тщательно подмели и даже поставили полицейского, которого специально ради торжественного случая выписали из Таормины.

В ожидании прибытия миллионера, полицейский дал инструкции толпе: никто не должен целовать Вандербильду руки или просить его благословения; нельзя бросать в миллионера цветами и вообще рекомендуется держать себя с достоинством, подобающим каждому настоящему сицилианцу.

На случай, если высокий гость проголодается, синьор Бландано добыл у знакомого повара из отеля Сан Доменико половину лангусты и порцию «русского салата». Он приготовил фиаску самого лучшего кьянти и даже купил в аптеке бутылку минеральной воды, цена которой показалась синьору Бландано грабительской... Покончив с приготовлениями, несмотря на то, что день был будний, он побрился, помылся и надел чистую рубаху. Оставалось только ждать.

Наконец, великолепный Рольс выехал на площадь и остановился перед кафэ. Оркестр грянул марш из «Аиды». Мэр и аббат вышли было вперед, но Вандербильд, явно не поняв, что встреча устроена в его честь, ни с кем не поздоровался и прямо поднялся на террасу.

Оркестр умолк. Толпа ждала, затаив дыхание. Вандербильд уселся в удобное кресло и погрузился в созерцание. Закат был на редкость красивый. Небо непрерывно меняло краски, из золотого стало желтым, потом сиреневым. Море было розовым. Этна пурпур-

ной... Наконец, Вандербильд и его свита поднялись с мест.

— Не угодно ли гостям отведать лангусту с русским салатом и запить угощение стаканом кьянти?

Мистер Вандербильд не голоден. Мистер Вандербильд не хочет пить кьянти. И он не дает автографов.

Благодетель города спустился с террасы. Оркестр снова грянул марш из «Аиды». Полицейский отдал честь. Автомобиль загудел и медленно двинулся вперед. Вот он исчез за поворотом, а затем прожекторы его показались на дороге, ведущей в Таормину... Толпа разразилась смехом: сицилианцы не лишены чувства юмора, отходчивы, и в ту же минуту забыли о мистере Вандербильде и его миллионах. Оркестр заиграл веселый мотив и на площади начались танцы.

Синьор Бландано удалился к себе наверх, запер двери кафэ и долго о чем-то думал. Затем он высыпал русский салат в чашку для своей собаки, взял лангусту и поднялся на террасу... Рольс Вандербильда еще был виден на петлистой горной дороге. Синьор Бландано размахнулся и запустил лангустой ему вслед[1].



На этот раз в Кастельмоло не было оркестра и никто не подмел площадь перед кафэ. Синьор Бландано угощенья не предлагал, но мы купили у него втридорога какие-то «сувениры». На каменном па-

---

[1] Эпизод этот великолепно рассказан в книге французского писателя Роже Пейрефитта «От Везувия до Этны».

рапете сидел аббат в затрапезной сутане и весело разговаривал с группой молодежи. Босоногий мальчишка гнал по лестнице козу, — вероятно единственное богатство семьи и ее кормилицу. Шли женщины за водой, но уже не за тридевять земель, а к фонтану: Кастельмоло, всё-таки, получил водопровод, правда не от Вандербильда, а от американского правительства, в порядке экономической помощи.

На улице к нам подошел старичок с веселой улыбкой и протянутой для рукопожатия рукой:

— Американо? — спросил он.

Получив ответ он совсем обрадовался, долго жал руки и сказал, что он сам был американо, — приехал в «Нев-Иорко» в 1895 году и прожил там семь лет, работая каменщиком. Когда заработал достаточно денег, отправился домой, в Кастельмоло, женился и купил по ту сторону горы виноградник. И пока был молод, всё мечтал вернуться с женой в Америку, да всегда что-то мешало: то урожай винограда был слишком хороший, то слишком плохой. Пошли дети и вдруг он незаметно стал старым и ехать было уже поздно... Он всё тянул нас к парапету, хотел показать вид на долину и твердил:

— Панорама уника!

Панорама, действительно, была уника, — на горизонте возвышалась Этна, окруженная цепью мелких, давно потухших вулканов; вниз сбегали горные тропинки к Таормине, Джардино, Катанье, а дальше, на горизонте — море, всё время менявшее свои цвета и далекие паруса рыбачьих лодок.

Американо всё что-то объяснял. Я решил, что он просто хочет получить сотню лир и протянул ему бумажку. Это была явная бестактность. Старик отступил на шаг и с обиженным видом замахал руками: он не гид и не нуждается, им руководили чувства «нобилиссима»: желание быть полезным бывшим соотечественникам и гордость кастельмолийца. Он начал просить нас зайти к нему в дом, выпить стакан вина, но мы, к сожалению, не могли принять приглашения: наступил вечер и обратная поездка по горной дороге, в темноте, нам не улыбалась. Мы пошли к автомобилю и на пути американо всё показывал местные достопримечательности. Показал даже одно-этажный дом средневековой архитектуры, с решеткой на окне, и сказал, что это — кастельмолийская тюрьма; и там сидит один арестованный.

— Кто же за ним следит? — спросил я. — Ведь у вас здесь нет ни полицейских, ни тюремщиков?

— За ним никто не следит, — ответил старик. — Он — местный человек и никуда не убежит. Это — бандит чести.

— Но кто же его кормит?

Старик сделал неопределенный жест рукой и сказал, что кормит его весь город, — кто хочет. Женщины приносят заключенному миску супу, остатки поленты, а кто — бутылку вина. В тюрьме он даже располнел. Но в чем заключалось преступление бандита чести, я так и не понял, — старик пустился в сложные объяснения и окончательно перешел на сицилианское наречие.

На деревянных воротах церкви я с удивлением увидел нарисованный краской серп и молот. Аббат, сто раз в день проходящий мимо, почему-то не стер этот коммунистический знак. Тут впервые пришлось столкнуться с некоторыми особенностями итальянского коммунизма. Меня заверили, что сицилианцы, голосующие за коммунистов, в глубине души считают себя роялистами и, во всяком случае, остаются верующими католиками. Вот почему в Италии на дверях дома можно увидеть серп и молот, а внутри — лампаду, зажженную у статуи Мадонны.

В Сиракузах, несколько дней спустя, я сфотографировал трактир, над которым висела вывеска:

«Альберго Парадизо».

И под этой надписью хозяин приклеил плакат:

«Вотати коммюнисти».

Хозяин явно страховался на два фронта: с одной стороны сулил своим клиентам рай, парадизо, а с другой призывал голосовать за коммунистов.

Кажется, дела его процветают.

СИРАКУЗЫ

От Таормины до Сиракуз три часа езды по железной дороге. Поезд идет медленно, останавливается на каждом полустанке и имена станций звучат для меня, как названия итальянских опер: «Маскатти», «Рипосто», «Бикокка»... На платформах невероятная суета и толкотня. Человек уезжает из Катаньи в соседние Сиракузы, а провожает его вся семья, словно он едет за океан, и когда поезд трогается, провожающие начинают шумно аплодировать. Переполнен поезд до отказу, в вагонах третьего класса нельзя пройти, да и в первом классе не лучше. В моем купэ полный комплект пассажиров: священник, всю дорогу погруженный в молитвенник; капитан карабинеров, как две капли воды похожий на бывшего кандидата в президенты Стивенсона; молоденькая и очаровательная балерина-итальянка, едущая на гастроли в Катанью, и американка с двенадцатилетней дочерью, путешествующая по Италии.

Балерина веселая, добродушная и восторженная, немедленно взяла под свое покровительство американку с дочерью. Всё время она указывает им в окно на какие-то достопримечательности, восхищается, сы-

пет объяснениями, а американка, едущая из Рима и уставшая от бессонной ночи, с трудом на всё это смотрит и уже не имеет сил восхищаться. Девочка ее спит на плече матери.

— Берег Атлантов, — говорит Стивенсон, показывая на пляж и бурые скалы.

— А где — Атланты? — сонно спрашивает американка.

— Это — мифология, кротко отвечает ей капитан карабинеров.

После этого балерина принимается за капитана. Уговаривает его бросить службу и стать депутатом: балерины, во всяком случае, будут голосовать за него... Через час мы все уже подружились, и когда поезд приходит в Катанью, помогаем балерине вынести чемоданы, не без сожаления пожимаем друг другу руки и расстаемся.

Капитан делается молчаливым и на следующей станции забирает свой саквояж и тоже сходит.

Почему-то мне кажется, что он вернется в Катанью посмотреть балет.



После Катаньи пейзаж резко меняется. Исчезают сады, нет больше апельсиновых и лимонных деревьев, не видно цветов и нет даже кактусов. Поезд идет вдоль голого и унылого берега. Всё выжжено неумолимым солнцем. Всюду, куда хватает глаз, — камень, пески и степи, покрытые выгоревшей травой, да русла высохших рек. Ни городов, ни деревень. Только

изредка попадается хижина, сложенная из камней, прислонившаяся к отвесу скалы, или пещера, в которой живут люди. Что они делают в этой пустыне, где берут воду, чего ради поселились в этом обездоленном месте? Неужели из-за двух коз, которые щиплют жалкую траву на дне высохшего ручейка?

Пейзаж этот только отражает судьбу Сиракуз, — города, бывшего две тысячи лет назад «царицей Средиземноморья». Когда за шесть веков до нашей эры на восточном побережьи Сицилии высадились греки, места эти были цветущими. Цицерон называл Сиракузы «самым большим греческим городом и самым красивым в мире». Но греки принесли в Сицилию не только высокую культуру, зодчество и изысканный образ жизни, но и бесконечные войны, сначала с Карфагеном, а затем с Римом. И в результате вторжений и длительных осад всё было сожжено, разрушено, уничтожено, — и земля перестала родить, в развалины были превращены великолепные храмы эллинских богов, а Сиракузы, в которых при тиране Дионисии было 500 тысяч населения, теперь едва ли насчитывают 30.000 жителей.

Нигде не ощущаешь с такой силой хрупкости цивилизации, как на этом сицилианском побережьи. В голой, мертвой степи вдруг появляются развалины античного храма... Должно быть, на заре истории, в месте этом был город и в центре его высился храм, воздвигнутый на вечные времена для поклонения эллинским богам. И камня на камне не осталось от этого города, исчезли следы его, — голая земля, да ле-

жат в траве только несколько разбитых колонн и на фоне синего, безоблачного неба четко вырисовывается чудом уцелевший портик.

В начале IV столетия до Р.Х. Сиракузы соперничали с Афинами и с Карфагеном. На высотах города возвышалась крепость Эвриалус, — самая большая в античном мире. В центре стояли храмы Геркулеса и Аполлона, десятки других храмов, и самый большой греческий театр в мире, на сцене которого разыгрывались трагедии Эсхила, Софокла и Эврипида. В порту всегда было много судов, бороздивших воды семи морей.

Что же осталось от всего этого?



Когда я вышел в полдень из сиракузского вокзала, на площади, залитой ярким солнцем, не было ни души.

Только на другой, теневой стороне, толстяк-шофер дремал за рулем «Фиата». Мне казалось, что он крепко спит, но, очевидно, сиракузские шоферы инстинктивно чувствуют приближение клиента. Как только я сделал несколько шагов по направлению к машине, он встрепенулся и лихо ко мне подкатил.

Сговорились мы быстро. Осмотр достопримечательностей, большей частью расположенных за городом, должен был продолжаться около четырех часов. Шофер Тони, во чтобы то ни стало, хотел начать с развалин крепости Эвриала, а я предлагал другой маршрут. Но Тони настаивал: смотритель крепости —

его товарищ, они вместе сражались в Абиссинии, сейчас обеденный час, он свободен и всё нам покажет.

До крепости — километров десять. Воздвигнутая на пригорке, во времена Дионисия, была она, вероятно, совершенно неприступной. Но от всех этих замысловатых сооружений остались теперь лишь груды камней, глубокие рвы, подземные ходы. Тони прямо повел к домику смотрителя. Семья была в полном сборе, за столом — смотритель, его жена, четверо немытых и грязных ребятишек, сестра жены с мужем, два каменщика... При виде гостей раздались радостные крики. В мгновенье ока расчистили за столом место, перед нами оказались тарелки, и хозяйка начала уговаривать, чтобы я отведал изготовленное ею рагу. Есть мне не хотелось, но от стакана вина я не отказался. И пока мы чокались и пили, Тони принялся за еду: в жизни я не видел подобного аппетита! Тут только стало понятно, почему он так настаивал на немедленном осмотре Эвриала... В комнате было душно, жужжали бесчисленные мухи, во всем чувствовалась бедность, но стол, за которым мы сидели, был из каррарского мрамора, античный, должно быть найденный в крепости во время раскопок, и сколько подлинного гостеприимства и радушия было у этих людей по отношению к человеку, которого они видят в первый и в последний раз в жизни!

Пока доедали рагу и хозяйка подала свеже сваренное кофе, я узнал, что все они имеют родственников в Америке. Отец Тони уехал в С. Штаты 44 года назад и так и не вернулся. В Нью-Йорке у него есть

брат, сестра и, как у каждого уважающего себя сицилианца, бесчисленное количество дядек и теток.

Мы долго ходили среди развалин, пугая крупных серых ящериц, гревшихся на солнцепеке. Гид мой показывал какую-то первую линию укреплений, — «прима дефанца», «секундо дефанца», водил к «секретным воротам», из которых на карфагенян вылетала греческая конница, — много крови было пролито по склонам этого холма. Неподалеку расположен греческий амфитеатр, в котором и теперь еще иногда ставят трагедии Эсхила, Софокла и Эврипида. Каким-то образом амфитеатр акустически связан с «Ухом Дионисия», — не то каменоломней, не то пещерой, имеющей форму человеческого уха и обладающей феноменальным резонансом.

Латомия Дионисия устроена так, что каждое слово, даже сказанное шопотом, гулко и отчетливо, многократно усиленное, возвращается эхом назад.

Мы стали у входа. Тони сказал несколько слов. Через секунду громовой голос в глубине латомии повторил их. Он ударил в ладоши и мне показалось, что это — пушечный выстрел. Тони вынул из кармана листок бумаги, разорвал его по диагонали, и этот, едва уловимый звук, громко прокатился под сводами.

На самом верху пещеры проделано небольшое отверстие, через которое струится слабый луч света. Говорят, во времена Дионисия в пещере сидели тысячи пленных афинян и отверстие было сделано для того, чтобы подслушивать их разговоры. Есть и дру-

гое, более правдоподобное объяснение: «Ухо Дионисия», соединяющееся с амфитеатром, было своего рода гигантским рупором для «звукового оформления» трагедий, разыгрывавшихся на арене.

***

В францисканском монастыре Св. Марциала, куда мы затем приехали, шла вечерняя служба. Тихий монах в коричневой сутане поклонился гостям и повел нас сначала благоухающим садом из белых и красных олеандр к храму, рухнувшему лет двести назад во время землетрясения. Уцелела только одна стена над алтарем, вся покрытая плющем и ползучими розами.

Потом монах зажег фонарь и мы спустились в катакомбы, где помещается древнейшая в Европе христианская церковь. По преданию, перед каменным алтарем этой церкви молился апостол Павел и в церкви еще сохранилась могила замученного в Сиракузах св. Марциала, мощи которого теперь находятся в Неаполе.

Наверху — знойный сицилианский день, а в катакомбах, — темнота, сырость, ледяной воздух.

Впереди покачивается лампа монаха и слышен его тихий голос:

— В этих саркофагах лежали кости первых христиан, которых начали хоронить здесь в третьем столетии... В прошлую войну, во время бомбардировок, местное население пряталось в катакомбах, и тогда кости убрали и зарыли на кладбище.

Мы идем бесконечными коридорами. По временам

гид останавливается, поднимает фонарь, и я вижу выгравированную на камне латинскую эпитафию. Холод усиливается, становится пронизывающим. Я чувствую, что обязательно простужусь в этом подземелье, — слишком велика разница в температуре на поверхности и в катакомбах. И, словно угадав мою мысль, монах с улыбкой спрашивает:

— Брат мой, здесь холодно и неуютно: живые не должны долго оставаться в царстве мертвых. Может быть, вы хотите вернуться в сад?

Мы поднимаемся по крутой лестнице к солнцу и теплу. В саду, под олеандрами, сладко спит мой Тони. Он отдохнул и теперь полон необыкновенной энергии. Он катает меня по улицам Сиракуз и показывает старый квартал. Через несколько дней, 24 августа 1953 года, здесь объявится статуя «плачущей Мадонны», — нигде не происходит так много чудес, как в южной Италии. Мы останавливаемся у элегантного отеля Боско XVIII столетия, не пропускаем ни одной церкви и заходим в собор Санта Мариа, в стены которого вделаны двенадцать дорических колонн, оставшихся от храма Минервы. Так странно переплелось здесь язычество и христианство... В соборе пусто, солнечно, и какая-то скрюченная в три погибели старуха, шаркая ногами по мраморным плитам, подходит, прося милостыню. Я подал ей бумажку, но через минуту, когда мы обходили храм с другого придела, старуха снова появилась и начала говорить что-то жалостливое, протягивая высохшую руку.

Тони рассердился и принялся стыдить нищенку,

при чем вначале называл ее мамой, а затем начал ругать, — и тут уже я ничего не понял, кроме какого-то особенного яростного «пер Бакко». Старуха заплакала и Тони размяк, от гнева его не осталось и следа: вздыхая он полез в карман и подал ей свои кровные пятьдесят лир. Старуха мгновенно перестала плакать и погналась за другими туристами, которые шли к алтарю.

Выспавшийся Тони был неутомим. Он обещал показать мне местную знаменитую красавицу — «уна белла Филиола» и привез в музей; «белла Филиола» оказалась статуей Афродиты, не многим уступающей по красоте Венере Милосской. Потом мы гуляли по набережной, в том месте, где Артемида превратила грациозную лесную нимфу Аретузу в ручеек, чтобы спасти ее от преследования речного бога Алфеуса. В бассейне Аретузы с кристально-чистой водой тихонько покачивались зеленые лотосы, завезенные сюда в незапамятные времена из Египта. Потом Тони привез на площадь Архимеда, погибшего в Сиракузах во время резни в пуническую войну, когда войска консула Марцелла ворвались в город.

— Синьор хочет видеть могилу Архимеда? — спросил Тони с гордостью собственника, которому ничего не жаль.

Конечно, я хотел видеть могилу Архимеда. Мы снова выехали за город и на каком-то повороте, в пустынном месте, он застопорил перед каменной часовней, каких много на старых итальянских кладбищах.

Никакой надписи на часовне не было. Тони смущенно признался, что достоверно никто не знает, — был ли здесь похоронен Архимед? Дверь в часовню была открыта. Я заглянул внутрь и отшатнулся: весь пол был покрыт нечистотами. Очевидно, некоторые паломники пытались проверить здесь теорию Архимеда относительно тел, погруженных в жидкость.

Тони увидел мое изумленное лицо и, сделав патетический жест рукой, сказал по-латыни, показывая на пол:

— Сик транзит глориа мунди...

Через час я снова сидел в вагоне. Горячий воздух бил в окно и большое, красное солнце медленно умирало над древними Сиракузами, оставшимися уже далеко позади. Какая-то необъяснимая печаль была разлита по пустынному побережью Атлантов, по всей этой навеки мертвой земле. И печаль постепенно охватывала и наполняла душу. Или то было уже прощание с Италией, предчувствие близкого и неизбежного с ней расставания?

Я закрыл глаза, вспомнил гондолу на темном венецианском канале, солнечный закат над Римом, торговцев цветов, расположившихся на ступеньках Пьяцца Д'Эспанья, уличные фонтаны с хрустальной и холодной водой, — нет, всё это нужно было увидеть и испытать еще раз в жизни! И последнее, что я вспомнил, засыпая под стук колес, была фраза Гёте:

— Кто хорошо видел Италию, тот никогда не будет совсем несчастным.

ОГЛАВЛЕНИЕ

КРЫМСКИЕ РАССКАЗЫ

ЛЕТО В ИТАЛИИ

PRINTED IN THE U.S.A.
RAUSEN BROS.
142 East 32nd Street
New York 16, N. Y.
317

ИЗДАНИЕ «НОВОГО РУССКОГО СЛОВА»
243 WEST 56th STREET
New York 19, N. Y.